ДУГЛАС КЕННЕДИ

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ТАЙН

НИЧЕГО, КРОМЕ НАС

РИПОЛ КЛАССИК

Дуглас Кеннеди

Ничего, кроме нас

Серия «Красивые вещи»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68605786
Ничего, кроме нас / Д. Кеннеди: РИПОЛ классик; Москва; 2022
ISBN 978-5-386-14626-9

Аннотация

Элис Берне – редактор, работающая над рукописью, посвященной теме семьи и вины, которая толкает героиню в пучину воспоминаний. Много лет назад она оставила свою семью, сбегая от проблем. Но настала пора остановиться и посмотреть правде в глаза. Чтобы двигаться дальше, Элис придется столкнуться с прошлым, полным лжи и тайн.

Содержание

Часть первая 22
Глава первая 22
Глава вторая 45
Глава третья 72
Глава четвертая 90
Глава пятая 124
Глава шестая 152
Глава седьмая 176
Глава восьмая 207
Глава девятая 224
Конец ознакомительного фрагмента. 245

Дуглас Кеннеди
Ничего, кроме нас

Douglas Kennedy
The great wide open
Copyright © 2019 by Douglas Kennedy
© Мигунова Е. Я., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
В оформлении обложки использованы материалы по лицензии агентства *Shutterstock, Inc.*

* * *

Непревзойденной Амелии Кеннеди

Человек – не то, что он о себе думает, а то, что он о себе скрывает.
Андре Мальро

Тысячу раз ты ходил этими улицами и все равно попадаешь сюда. Ни о чем не жалей, ни об одном из тех пустых дней, о которых хотел бы забыть, когда огни каруселей были единственными звездами, в которые ты верил, любя их за никчемность, не желая быть спасенным.

Ты доскакал до этого места верхом на своих ошибках – ты мрачен и хмур, но спокоен, как дом, из верхнего окна которого выбросили телевизор. Безобиден, как сломанный топор. Пуст – никаких ожиданий. Расслабься. Не трудись вспоминать.

Давай остановимся здесь, на углу под светящейся вывеской, и будем смотреть, как мимо идут все люди.

Дорианн Ло, «Антиоплакивание»

Все семьи суть тайные общества. Мирки, состоящие из интриг и внутренних войн, живущие по своим собственным правилам и установкам, со своими границами и рубежами. Правила семьи часто кажутся лишенными смысла тем, кто находится вне ее пределов. Мы ценим семью более, чем любую другую ячейку общества, так как она является важнейшим краеугольным камнем социального устройства. Когда внешний мир оказывается жестоким и неумолимым, когда посторонние, с которыми нам приходится столкнуться, разочаровывают или травмируют нас, именно семья должна стать тем убежищем, к которому нас тянет, будто магнитом. Хранилищем уюта и радости.

Учитывая то, что мы преклоняемся перед этой важнейшей базовой концепцией мироустройства, идеализируем ее возможности, возлагаем на нее роль единственного места, куда мы можем устремиться в поисках безусловной любви, стоит ли удивляться, если подлинная реальность семьи оказывается шаткой и дестабилизирующей? Все изъяны и

дефекты человеческой природы стократно усиливаются в наших ближайших родственниках. Потому что семья – то самое место, откуда берут начало все наши обиды на мир. Потому что зачастую семья разрушительна. Нередко семья становится источником несвободы, ограничений и растущего недовольства. Расти в семье – значит обнаружить: любой ее член может быть склонен к вероломству; вопреки всем заявлениям о том, что мы среди близких, понимающих нас, как никто другой, и всегда готовых броситься на выручку, все мы что-то друг от друга скрываем.

Я дважды перечитала последний абзац. Слова рикошетом отскакивали от сознания и вертелись в мозгу, словно вышедший из-под контроля бильярдный шар. Ну что за бурный каскад неутешительных истин! Я закурила новую сигарету – восьмая за сегодня, а на часах еще только 15:20. Скомкав лежащую на столе пустую пачку, я позвонила своей помощнице Черил и попросила ее спуститься в холл и купить в торговом автомате еще пачку «Вайсрой»: мне предстояло допоздна работать над рукописью. Прошлый вечер на никотиновом фронте выдался особо неумеренным, уж очень меня раздосадовало переизбрание второсортного актеришки на второй президентский срок. Вернувшись ночью из гостей (вечеринка в районе Грамерси-парка, в особняке эпохи Позолоченного века[1]), среди множества сообщений на автоответчике

[1] Позолоченный век (1877–1895) – эпоха быстрого роста экономики США после Гражданской войны и реконструкции Юга. Название принадлежит Марку

я обнаружила одно от Си Си Фаулера. Это глава издательства, в котором я работаю. И его сообщение навело меня на мысль, что он перебрал коктейлей.

Привет, Элис. Я тут подумал: нам поскорее нужна книга о Рейгане как игроке, радикально меняющем ситуацию на политическом поле, потому что он, похоже, станет – к худу ли, к добру ли – самым влиятельным президентом после Ф. Д. Рузвельта. Можем мы обсудить это после ланча в четверг?

Си Си всегда зорко следил за конъюнктурой на рынке. Но я не могла отогнать от себя назойливую мысль: кто будет покупать книгу о президенте, которого страна оставила у власти еще на один срок, да еще с таким триумфом? Вчера вечером он победил в сорока девяти из пятидесяти штатов, как бы объявив тем самым: в Америке середины восьмидесятых востребованы его сентиментальный патриотизм и трепотня о том, что *выйти в плюс – вот главное*. Нажав на телефоне кнопку срочной связи, я попросила Черил созвониться с ассистентом Си Си и перенести встречу на пятницу: «Ты же знаешь, в четверг я уеду пораньше».

Черил – человек, которому я доверяла полностью (а в издательстве, уж поверьте, люди, способные хранить секреты, такая же редкость, как довольный жизнью алкоголик), – зна-

---

Твену и Чарльзу Уорнеру и обыгрывает термин «золотой век», намекая на то, что в американской истории он был позолочен лишь на поверхности. В этот период представители элиты строили в городах роскошные особняки. – Здесь и далее примеч. пер.

ла, почему завтра я должна удрать с работы в час дня: мне предстояло свидание с братом. Сам по себе тот факт, что он сидит в федеральной тюрьме в часе езды к северу от Манхэттена, государственной тайной не являлся. Его арест и суд прогремели повсеместно как главные новости.

С тех пор как его посадили с месяц назад, я навещала брата еженедельно. А за несколько дней до выборов получила от него письмо. Он спрашивал, смогу ли я прийти в тюрьму на этой неделе, потому что «мне очень нужно с тобой увидеться и кое-что обсудить». Брат не уточнил, что это за «кое-что», зато сообщил, что в последние дни многое переосмыслил. Он еще употребил любопытный термин «оценка души». В его последних письмах стали появляться выражения, характерные для новообращенных. Возможно, я сужу слишком строго. Наверное, до сих пор никак не осознаю, что мой брат – уголовный преступник. Но, по-моему, история с совестью, как по волшебству проснувшейся в местах не столь отдаленных, сильно отдает приспособленчеством… тем более что обретение Бога в тюрьме стало, похоже, неотъемлемым атрибутом американских преступников.

Но, так или иначе, он мой брат. И, хотя наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны (поражаюсь, как может одна семья породить детей настолько разных во всем, что касается мыслей и чувств!), свойственная мне упрямая преданность заставляет меня ему помогать. Особенно если учесть, что семейная верность нередко опирается на чувство

вины.

Позвонив в тюрьму, я записалась на посещение в четверг в 16:30. Как и раньше, служащий, с которым я говорила, напомнил, чтобы я взяла удостоверение личности с фотографией и предупредил, что меня могут подвергнуть личному досмотру. Далее он, как всегда, огласил список запрещенных предметов (огнестрельное и холодное оружие, лекарства, отпускаемые по рецепту, наркотические средства, порнография и опасное вещество, известное как жевательная резинка). На вопрос, понятно ли мне, что всё это проносить запрещено, я ответила:

– Это мой пятый визит, сэр. И я всегда соблюдаю правила.

– Да хоть двадцать пятый, мне все равно. Моя обязанность зачитать вам этот список. Это понятно?

– Да, сэр.

– До встречи в четверг, мисс Бернс.

В поезде, мчащемся на север по сонным пригородам Нью-Джерси, я продолжала корпеть над свежекупленной рукописью психоаналитика, профессора Гарвардской школы медицины на тему «Семья и вина». Тема, которая может коснуться практически любого думающего человека. Эта книга способна возглавить списки бестселлеров… при условии, что мне удастся обуздать доктора Гордона Джилкрайста, точнее, его тенденцию скатываться на зубодробительную мозгоправскую лексику.

Проекция[2] – еще куда ни шло, с этим мы можем смириться, особенно пока речь идет о всяких милых чертах, унаследованных нами от дорогих мамочек и папочек. Но начните бить читателя по мозгам *катексисом / декатексисом* или *парапраксисом Синьорелли*, завлеките их в извилистые лабиринты *контрфобического отношения* и прочей терминологии, в которой без Оксфордского словаря английского языка не разберешься, и вы затерроризируете и подавите его личность, заставив ощутить свою неполноценность. Я уже говорила об этом с Гордоном, пытаясь убедить его в том, что он, если поубавит словесной эквилибристики, имеет все шансы стать автором самой популярной в следующем сезоне книги «Думаете, у вас проблемы?». Итак, моя красная ручка резво бегала по страницам, вымарывая огромные куски научной зауми, и вдруг я ощутила резкий укол *объективной идентификации*, наткнувшись на абзац, который начинался словами:

Все семьи суть тайные общества. Мирки, состоящие из интриг и внутренних войн, живущие по своим собственным правилам и установкам, со своими границами и рубежами. Правила семьи часто кажутся лишенными смысла тем,

---

[2] Позолоченный век (1877–1895) – эпоха быстрого роста экономики США после Гражданской войны и реконструкции Юга. Название принадлежит Марку Твену и Чарльзу Уорнеру и обыгрывает термин «золотой век», намекая на то, что в американской истории он был позолочен лишь на поверхности. В этот период представители элиты строили в городах роскошные особняки. – Здесь и далее примеч. пер.

кто находится вне ее пределов…

Размышлял ли теперь мой брат о тайнах, которые так портили нашу семейную жизнь и создавали атмосферу скрытности, которая в конечном итоге и привела его в тюрьму? Ведь мы, люди – не просто суммарное проявление того, что нам приходится пережить, но еще и свидетельство того, как мы осмысляем все встреченное на жизненном пути. В безумную сложность выбора вторгается музыкальная тема случайности – и вот, приняв массу ошибочных и необдуманных решений и навредив себе, мы, бывает, переписываем сценарий, создавая тот, с которым можем жить.

– Имя и номер заключенного?

Искаженный голос доносится из небольшого динамика, впаянного в плексиглас у входа в федеральное исправительное учреждение в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Ворота, на них колючая проволока. Бетонные стены. Заметны тени скрытых за ними жилых корпусов. Кроме этого да еще вывески, сообщающей, что это и в самом деле тюрьма, в облике этого места нет ничего особенно гнетущего. Если, конечно, вы не находитесь здесь в заключении, поскольку система уголовной юстиции постановила, что таким образом вам надлежит выплатить свой долг обществу. Я назвала имя брата. Держа наготове открытую записную книжку, прочитала и присвоенный ему здесь номер: «5007943NYS34».

– Кем приходитесь заключенному? – снова спросил голос.

– Сестрой.

Через минуту раздался характерный щелчок, и тяжелая армированная дверь открылась. Я вошла, прошла по короткому коридору без крыши, над головой только серое ноябрьское небо, справа и слева стены из шлакобетона, ведущие ко второму контрольно-пропускному пункту. Здесь мне предстояло предъявить удостоверение личности и ждать, пока из моих сумок все вытряхнут и проверят содержимое. Пришлось вытерпеть и обыск, проведенный женщиной в форме. Когда стало наконец ясно, что я не вооружена и не опасна, что две пачки «Орео», которые попросил принести брат, это действительно любимое школьниками печенье, а в банках арахисового масла не спрятаны бритвенные лезвия, меня проводили в комнату ожидания. Унылое помещение, выкрашенное характерной для государственной больницы зеленой краской, с серыми пластиковыми стульями, люминесцентными лампами, потрескавшимися потолочными плитками и истертым линолеумом. Даже несмотря на свои предыдущие посещения, я все равно нервничала, оказавшись здесь. Тюрьма есть тюрьма, даже если твоему брату в рамках процесса реабилитации здесь предлагаются на выбор уроки игры на пианино или испанского языка.

– Элис Бернс?

Меня выкликнули по имени – невысокий латиноамериканец в синей униформе служащего тюрьмы, которая явно была ему велика. Я встала. Подвергнув мои сумки повторной

проверке, меня отвели в комнатушку с письменным столом и двумя стульями из нержавейки. Как же мне захотелось закурить прямо сейчас! Хоть бы сигарету-другую за пятьдесят минут, отведенные на свидание с братом, – и вся эта пытка стала бы куда более сносной.

Сев на жесткий, с прямой спинкой стул, я в ожидании заключенного номер 5007943NYS34 прикрыла глаза, чтобы немного передохнуть от всего этого казенного убожества.

– Привет, сестренка.

Я широко открыла глаза. Передо мной стоял брат, и он явно сбросил фунта три с нашей встречи на прошлой неделе. Я поднялась. Мы неловко обнялись, и я подивилась той пылкости, с которой Адам сдавил меня в объятиях, будто хотел передать какую-то духовную силу.

– Ничего себе, – пробормотала я.

– Пастор Уилли сказал, что я грандиозно обнимаюсь – он никогда ничего подобного не встречал.

– Я уверена, что уж кто-кто, а пастор Уилли разбирается во всех видах объятий.

– Ты вроде надо мной насмехаешься, сестренка?

– Вроде того. Почему ты так похудел?

– Зарядка. Правильное питание. Молитва.

– Молитва помогает сбросить вес?

– Если начнешь смотреть на калорийные продукты как на искушение дьявола…

Я подняла сумку со сладостями, которые принесла брату:

– Тогда зачем ты просил принести всю эту вредную еду?

– Немного побаловать себя раз в день – в этом нет ничего дурного.

– А съесть десять печений за раз – это, стало быть, сатанинский соблазн?

– И снова этот твой тон.

– Я ночью плохо спала. И все это для меня сплошной стресс.

– Так и должно быть, учитывая то, как плохо я себя вел. Я разрушил много жизней. И навлек позор на всех нас.

Я взмахнула рукой, как коп, регулирующий уличное движение:

– Хватит, ты уже достаточно передо мной извинялся.

– А пастор Уилли говорит, что до конца извиниться за прошлые грехи невозможно, всегда будет недостаточно. И единственный способ все загладить – это идти путем праведности и искупить вину за содеянное в прошлом.

– На мой взгляд, большой срок в тюрьме – вполне себе искупление. Ты во вторник голосовал?

– Мне нельзя. Один из многих недостатков заключения в том и состоит – ты лишаешься права голоса. Лишаешься права делать практически все.

Адам принялся расхаживать взад и вперед по узкой комнате – давняя привычка невротика, которую он подавлял годами, пока его не заключили в наручники и не провели под конвоем на глазах у собравшихся журналистов. Сейчас, гля-

дя на него, я поняла горькую правду: какие бы он ни вел сейчас разговоры о вновь обретенной внутренней гармонии и искуплении, какой бы независимый вид ни напускал на себя во время оглашения приговора, как бы адвокат ни уверял, что через три года он выйдет из этого заведения общего режима, в душе моего братика царил прежний раздрай. Я подскочила к нему, обхватила двумя руками за плечи, отвела к стулу и посадила, а он только причитал тихонько:

– Прости меня, прости, мне так жаль…

Еще один побочный эффект стресса – необходимость снова и снова повторять одну и ту же фразу.

Я крепко сжала руки брата:

– Прекрати извиняться. Что сделано, то сделано. И я рада была услышать, как ты злишься.

– Но пастор Уилли говорит, что гнев ядовит. И пока я не научусь прощать…

– Пастор Уилли не потерял все. Пастора Уилли не заперли в тюрьме. И окружной прокурор не использовал пастора Уилли в своей политической игре, устроив публичную порку, так сказать, в назидание всем. Что, черт возьми, этот евангелист знает о *твоем* гневе?

– На прошлой неделе пастор Уилли сказал мне во время частной встречи, что ты – яркий пример «сестринской поддержки».

– Я буду тебе благодарна, если ты больше не станешь без конца поминать имя несчастного пастора Уилли. Понятно

же, что я здесь ради тебя.

– Вот если бы и мой брат оказался так же милосерден.

Его брат! Мой второй брат. Сейчас он, запутавшись в трясине морального превосходства, пребывает в бегах. С нами общения не поддерживает.

– Его все это тоже не радует, уверяю тебя, – сказала я.

– Спасибо, что возишься со мной, а не списала со счетов как конченого, как сделал он.

– Ты никакой не конченый, – возразила я.

– Мама на той неделе то же самое сказала. Вы так до сих пор и не разговариваете?

– Я дверью не хлопала, но она продолжает меня винить…

– Я велел ей перестать это делать. Ты не виновата.

– В ее глазах всегда виновата *я*. Я всегда была для нее нежеланной дочерью, и она повторяла мне это не раз и не три.

– Нам всем необходимо исцеление.

– Ой, не начинай…

– Я знаю, по-твоему, все это напоминает слащавую мелодраму. Но пора уже всем нам быть честными друг с другом.

– С мамой это пройдет на ура. Но представь, что ты скажешь такое папе…

За этой моей репликой последовало долгое молчание. Брат уставился в пол. Невооруженным глазом было видно, до чего ему скверно. В конце концов он взял со стола пачку печенья, вскрыл и, схватив сразу три штуки, буквально про-

глотил их.

– Я давно собираюсь поговорить с отцом о тебе, – сказал он.

– Прости, что заговорила об этом.

– Не надо извиняться за то, что заговорила о папе. Но… – Адам заколебался было, но продолжил: – Сейчас мне нужно обсудить с тобой один факт, о котором я раньше никогда тебе не говорил.

– Не уверена, что именно сегодня я хочу услышать еще о каких-то фактах.

– Но есть кое-что, о чем мне необходимо сказать.

– Почему сейчас?

– Мне необходимо этим поделиться.

– Я так и слышу в этом «поделиться» голос пастора Уилли…

– Он и правда сказал, что пока я не признаюсь в этом беззаконии…

– *Беззаконие* – неоднозначное слово с множеством смыслов.

– Да послушай меня наконец, *пожалуйста*!

Молчание. Очень долгое молчание. Брат сидел спиной ко мне, уставив неподвижный взгляд в стену. Наконец он заговорил. А когда почти через полчаса он закончил рассказывать свою историю, я почувствовала, что у меня кружится голова и плывет под ногами пол.

– Значит, спустя пятнадцать лет ты решил все это выло-

жить мне, – сказала я. – И, делая это, ты настаиваешь на том, чтобы я разделила с тобой эту тайну… и сохранила все именно что в секрете.

– Можешь всем рассказать, если хочешь.

– Не собираюсь я никому рассказывать. За последние годы ты навлек на свою голову достаточно неприятностей. Но я должна тебя спросить: кто еще кроме пастора Уилли об этом знает?

– Никто.

Я обшарила глазами все углы мрачной комнатушки, пытаясь разглядеть камеры или микрофоны. Как будто нет. И все же, прежде чем снова заговорить, я понизила голос до шепота:

– Так пусть все так и остается. Не слушай своего проповедника и не вздумай еще с кем-то поделиться этой историей. Ты уверен, что пастор Уилли будет молчать?

– Он всегда уверяет, что всё, о чем мы говорим наедине, остается между нами, что он большой специалист по хранению «вечных тайн».

И готова поспорить, что у него, как у очень многих сверхнабожных людей, наверняка имеются и собственные страшные тайны.

– Ну, твои секреты носят глубоко *временный* характер. Поэтому я намерена забыть обо всем, что ты рассказал.

– Сейчас ты говоришь совсем как папа, – усмехнулся Адам.

– Я кто угодно, только не наш отец.

– А почему же сговариваешься со мной точно так, как он много лет назад?

– Потому что мы, увы, родственники. И из этого следует, в частности, что теперь мне придется как-то жить, зная то, о чем ты мне поведал.

– Даже несмотря на то, что минуту назад ты обещала забыть все, что слышала?

– Это было бы слишком просто. Я никогда не забуду эту историю. Но никогда не стану ее обсуждать. И учти, я очень жалею, что ты мне все рассказал.

– Ты должна была знать. Это же про нас. Про то, что мы такое.

И тут же, оторвав взгляд от потрескавшихся потолочных панелей и люминесцентных ламп, Адам опустил глаза и уставился на меня, будто снайпер, нашедший свою цель.

– А ведь ты теперь в этом замешана, – произнес он.

Прошло несколько дней после того ошеломительного тюремного свидания. Тяжесть того, что совершил мой брат – при несомненном пособничестве отца, – давила на меня не так сильно, как мое согласие хранить тайну, которую он просто взял и выложил мне.

Адам оказался прав: обещав ему, что стану всегда хранить в тайне это ужасное преступление, дав обет молчания – *омерта*, – я стала соучастницей.

Все семьи – это тайные общества.

А открытая кому-то тайна перестает быть тайной.

Когда тайна становится известной родителю, брату или сестре, она может превратиться в секретный сговор, заговор. При условии, что все эту тайну сохраняют.

Ты должна была знать. Это же про нас. Про то, что мы такое.

Мы, Бернсы. Родители, рожденные во время изобилия 1920-х, быстро сменившегося лишениями и национальным упадком. Трое детей, поочередно появившихся на свет на фоне мира и благополучия середины века. Квинтет американцев из верхушки среднего класса. И свидетельство – в свойственном нам неповторимом мучительном стиле – того сумбура, в который мы превращаем свои жизни.

Моя мать, насквозь предсказуемая, вечно изрекающая в качестве утешения прописные истины, обронила недавно фразу, в которой сверкнула скрытая мудрость: «Семья – это всё… вот почему так нестерпимо больно».

Я оцениваю все это с довольно шаткой позиции – заглядываю через беззаботную пропасть юности в свое четвертое десятилетие, всматриваюсь в свой персональный ландшафт, замусоренный всякой дрянью, по большей части унаследованной или собственного производства. Пытаюсь понять, когда началась эта череда неурядиц. Когда же все мы выбрали ее?

Очнувшись, я перевела взгляд на рукопись, подняла еще

непотухшую сигарету. Сделав еще одну затяжку, чтобы успокоиться, взялась за ручку.

Все семьи суть тайные общества.

К этому, будь это моя книга, я бы добавила следующие строчки:

И если прошедшие два десятилетия научили меня чему-то, так это важной истине: несчастье – это выбор.

Часть первая

Глава первая

Ностальгия – удел консерваторов. Все эти разговоры о старых золотых денечках, когда жизнь была проще, мораль и этические ценности яснее, а люди уважали закон, – универсальный язык для всех, кому трудно справляться с вызовами настоящего времени. Вот только образ истории у людей, вспоминающих по поводу и без повода «былые времена», больше смахивает на открытку, благостную, отретушированную и позолоченную, как обложка мормонской брошюры с описанием рая.

Мормоны. Вспоминаю свою первую встречу с парой этих «Святых последних дней». Это было в сентябре 1971 года, рано утром, перед моим отъездом в школу. Первый учебный день выпускного года. Мама готовила отцу завтрак, по крохотному 12-дюймовому «Сони Тринитрон» гремело «Сегодня»[3]. Телевизор мама с дальним прицелом разместила на столешнице, чтобы видеть экран во время «уничтожения продуктов». Именно так папа всегда отзывался о готовке и

[3] Today Show (или Today) – американское утреннее ежедневное телешоу на канале NBC.

кулинарных способностях своей жены: таланта-де у нее к этому нет, поэтому вся еда получается пресной и безвкусной. Я разделяла папино мнение настолько, что с недавних пор начала сама готовить себе ужин и даже ходила в магазин Эй и Пи на главной улице Олд-Гринвича и на те деньги, которые зарабатывала по выходным, покупала для себя еду.

Я вообще обожала делать все по-своему. На той неделе это выразилось в ношении деревянного знака мира на плетеной веревке, который и сейчас болтался у меня на груди. Я нашла его на прошлых выходных, бродя по городу с моим тогдашним парнем, Арнольдом Дорфманом. Арнольд был одним из немногих евреев в этом уголке Коннектикута; на свою беду, он переехал сюда с Манхэттена. Стоило папе увидеть у меня на шее знак мира, как он разразился тирадой о «розовом» влиянии отца Арнольда. Пару недель назад на местном фуршете, куда были приглашены и мои родители, тот допустил роковую ошибку, не одобрив решение Никсона и Киссинджера о бомбардировках Камбоджи. Пока родители присутствовали на приеме, Арнольд заходил ко мне, чтобы часок позаниматься уроками и пятнадцать минут сексом. Арнольд есть Арнольд – он рассчитал, что вечеринка окончится в половине девятого, и вышел из моей комнаты в восемь десять… точность была одним из его безобидных наваждений. И правда, входная дверь открылась в восемь тридцать пять. Родители вернулись домой. Через несколько секунд они уже начали ссориться, и голос отца звучал так, будто последние

выпитые им четыре мартини с водкой были лишними.

– Не учи меня, как мне разговаривать, – услышала я его крик.

– Я уже тебе не раз говорила, я говорила тысячу раз – стоит тебе выпить, и ты сам не соображаешь, что мелет твой длинный ирландский язык.

Это был голос моей матери – урожденной Бренды Кац из Флэтбуша, что в Бруклине. Громкий, осуждающий – именно таким тоном она обращалась к каждому из нас всякий раз, как ей что-то не нравилось. Я не то чтобы винила ее за бичевание, которому она подвергала отца. С тех пор как Соединенные Штаты покатились по никем не предвиденному новому «радикальному» пути, папа все чаще приходил в ярость из-за внутренних беспорядков в стране, которую в свое время поклялся защищать как «верный долгу» ветеран морской пехоты США. Мама между тем неоднократно высказывалась против наших бомбардировок в Юго-Восточной Азии.

– Я не нуждаюсь в том, чтобы этот пацифист-иудей… этот докторишка читал мне лекции о войне.

– Прекрати называть его иудеем.

– А что такого? Это лучше, чем «еврейчик».

– Ты сейчас похож на своего отца.

– Не говори плохо о покойнике.

– Даже если ты сам его ненавидишь.

– Мне можно о нем плохо говорить, а тебе нет. Если на то пошло, для папы «еврейчик» было бы слишком вежливо.

«Жид» – вот это больше в его стиле.

– А сейчас ты просто пытаешься продемонстрировать мне свой антисемитизм.

– Как я могу быть антисемитом? Я женат на тебе. Хотя, возможно, именно это и сделало меня антисемитом.

– Мой папочка услышит, что ты сказал.

– *Папочка… папочка*! Тебе сорок четыре года, а ты все сюсюкаешь, как малолетка только что после бат-мицвы. Мы с твоим папочкой друг друга понимаем: ты избалованная и капризная. И он знает, кто тебя испортил: он сам и твоя сплетница-мамаша.

– Ну, опять за свое! Давай-давай, скажи еще, что ты меня ненавидишь.

Отец не успел ответить утвердительно. Я услышала звон разбитого стекла, хлопнула дверь, и мать разрыдалась. Тогда я подошла к проигрывателю и поставила свой любимый на тот момент альбом: *Blue* Джони Митчелл. Мне очень хотелось быть похожей на нее – независимой, поэтичной, страстной девушкой-хиппи, с нежным романтичным сердцем, но при этом видящей насквозь всех этих паршивых мужиков и конформистское ханжество американской жизни (и плевать, что она была канадкой). Вот было бы здорово оказаться сейчас одной на дороге и ехать куда-то… ехать, ехать…

Я часто завидовала своему брату Питеру. Старше меня на шесть лет, он учился на факультете богословия Йельского университета. Питер всегда учился блестяще. Сначала он по-

дал документы в университет Пенсильвании и получил полную стипендию, после чего испугал маму, объявив, что после колледжа берет годичный отпуск и хочет поработать в Американском совете церквей в южных штатах. Отец забеспокоился по поводу безопасности Питера, «потому что нет никого тупее неотесанного южного болвана с ружьем в руках». Такие противоречия во взглядах отца были необъяснимы. Он мог быть ярым республиканцем и большим сторонником Никсона, но его отношение к гражданским правам было очень специфичным, и он не раз заявлял, что права есть права, «будь ты белый, черный, желтый, да все равно какой американский засранец». Я помню, как сильно, по-настоящему сильно повлияло на него убийство Мартина Лютера Кинга в апреле 1968 года («Хороший был человек»). И помню, как он хотел, чтобы ФБР распихало всех черных активистов по одиночным камерам.

«Не надо путать мирный протест и попытки изменить ситуацию с бутылкой коктейля Молотова в руках», – сказал он в прошлом году на ужине в День благодарения. У нас еще тогда гостил Питер, а еще мой второй брат Адам со своей не блещущей умом девушкой Пэтти – он встречался с ней с тех самых пор, как (по настоянию отца) пошел учиться на коммерческий факультет Нью-Йоркского университета. Это был неожиданный выбор. Я никогда не замечала, чтобы Адама интересовали бизнес и коммерция. Насколько мне было известно, всерьез он хотел только играть в хоккей. Но мечты

о профессиональном спорте испарились после аварии, случившейся два года назад (брату тогда было двадцать). Один из его товарищей по команде – темнокожий парень по имени Фэрфакс Хэкли – погиб, уснув за рулем. Адама извлекли из машины с травмами и тяжелым сотрясением мозга. Физически он скоро оправился и мог бы играть. Но больше не рассматривал это как вариант для себя.

За столом, сидя напротив Адама, я видела его потухшие, тревожные глаза, следила, как он с фальшивым энтузиазмом поддакивает отцу и весело смеется над глупыми шутками Пэтти. Я невольно подумала, что мало знаю этого своего брата. После той автокатастрофы он казался мне поникшим, слабой тенью самого себя. Только однажды в разговоре со мной он обронил: «Это должен был быть я», но больше никогда не говорил о случившемся. Адам будто запер эту комнату на ключ и никого туда не пускал. Стоило мне упомянуть об этом, мама или отец тут же затыкали мне рот. Мало-помалу я научилась больше не задавать вопросов на эту тему. Но так и не смогла понять до конца, почему Адам внезапно так резко изменил своим жизненным принципам, начав покорно выполнять все, что велел отец. Казалось, он отчаянно нуждался в отцовском одобрении, воспринимал слова отца как истину в последней инстанции, как властный голос, с которым он должен безусловно считаться, зная прекрасно, что никогда не сумеет добиться его полного одобрения.

Питер, наоборот, как будто решил, что дело всей его жизни – бросать вызов отцу и всем его установкам. Уравновешивая подобострастие Адама, он вел себя как провокатор, по поводу и без повода напоминая о своих либеральных взглядах. Сейчас, вернувшись домой после трех томительных месяцев, проведенных в Монтгомери, штат Алабама, он рассказывал нам, как получил от местного подразделения ку-клукс-клана угрозы за то, что привел пять пожилых афроамериканок в здание местного суда, чтобы они зарегистрировались для голосования на выборах, да еще и задавил юридическими доводами местного клерка, когда тот попытался заставить женщин пройти тест на гражданство.

– Этот клерк был старый пройдоха, настоящий мерзкий сукин сын…

Пэтти неловко заерзала на стуле. Наш отец заметил это.

– Следи за языком, сынок, – сказал он Питеру.

– Я тебя обидел? – Питер мило улыбнулся Пэтти. – Так вот, я и говорю, этот сукин сын и пройдоха требовал, чтобы три очень любезные пожилые женщины прошли тест на гражданство, назвав четырнадцатого президента Соединенных Штатов.

– Франклин Пирс, – перебила я.

– А ты откуда знаешь? – удивился Адам.

– Он учился в Боудине[4], – пояснил папа. – А Элис туда собирается.

---

[4] Боудин-колледж – частный университет в г. Брансуик, штат Мэн, США.

– Меня еще не приняли, пап, – возразила я.

– Мы в Боудине играли в хоккей, – сообщил Адам. – Там много симпатичных студенточек.

– Ну, а теперь они решили сделать ставку на джаз, – сказала мама, – потому и нацелились на твою сестру с ее замашками битника.

– Битник – слово из пятидесятых, – заметил Питер.

– Ну, не хиппарка же она, – усмехнулся папа.

– *Не хиппи*, – поправила мама.

– Ты считаешь, я не знаю, как правильно?

– Я считаю, что наша дочь подалась в битники, потому что ты разбил ей сердце, когда увез нас всех из Нью-Йорка, – заявила мама. – Точно так же, как разбил сердце мне.

– Так и возвращайся в свой чертов Нью-Йорк, – завелся отец. – Только не названивай мне, когда тебя ограбит парочка пуэрториканцев с ножами, и уж постарайся не блевать, если увидишь, как какая-нибудь черная шлюха-наркоманка крутит голой жопой посреди Восьмой авеню…

– Господи, папа! – Адам одной рукой обнял Пэтти.

– А если твоя сестра сбежит с каким-нибудь *schwarzer*[5] джазовым музыкантом…

– Это совершенно неуместно, – сказал Питер.

– А что такого, я же обошелся без слова на букву Н, – вскинулся отец. – А *schwarzer* – так говорят в семье твоей

---

[5] Schwarzer (идиш) – черный, в данном случае пренебрежительная кличка чернокожих.

мамаши, это их слово на Н.

– Может, подкинешь мне телефончик того джазового музыканта? – спросила я.

– Это не смешно, юная леди, – одернула меня мама.

У сидящей напротив Пэтти был такой вид, словно она оказалась в толпе больных синдромом Туретта.

Питер улыбнулся:

– Милости просим в нашу семью.

Через полчаса папа, который приканчивал третий мартини, объявил всем, что понимает, почему большинство южных штатов поддержали флаг Конфедерации. Сказано это было исключительно для того, чтобы позлить Питера. Мой брат, не теряя хладнокровия, напомнил папе, что его дед – Уильям Сайлас Бернс – был одним из основателей ку-клукс-клана в Джорджии.

– Не смей называть меня гребаным расистом, – крикнул папа в ответ.

– Но, папа, – возразил Питер, – ты же меня с дерьмом смешал, когда на втором курсе Пенсильванского я пришел сюда с Марджори.

– Только потому, что она завелась на тему власти черных[6].

– А еще ты спросил меня, когда она выходила из комнаты: неужели я не мог найти себе хорошую белую девушку… вот как Пэтти… чтобы ходить на свидания?

---

[6] Власть черных – лозунг негритянского движения в США, требующий большего участия негров в политической и культурной жизни страны.

– Типично для твоего отца, – встряла в разговор мама, – разыгрывать расистскую карту…

– Сколько я всем вам должен повторять, придурки, я не гребаный расист!

– Папа, прошу тебя. – Адам кашлянул.

– А я уверен, Пэтти со мной согласится, – возразил отец, – что проблема этой страны сегодня в том, что вся эта радикальная болтовня – скулёж – испорченной элиты…

– Скажи это черной восьмилетней малышке из Монтгомери, когда ей, бедняжке, велят бежать в раздельный сортир «только для цветных», – перебил его Питер.

– Уж лучше так, чем мистер радикал, который похваляется тем, что его ублажает какая-то цыпочка из «Черных пантер», готовая революционерка, – парировал папа.

В этот момент Пэтти с плачем выбежала из-за стола. Адам поплелся за ней.

– Ты тупица, – сказала мама.

Папа только улыбнулся и допил свой мартини.

Питер покачал головой:

– Ты так старательно изображаешь говнюка, папа, а на деле ты всего лишь маленький мальчик, который, не зная, как привлечь к себе внимание, выбрасывает игрушки из кроватки.

Он попал в яблочко. В ответ папа схватил стакан воды и плеснул в лицо старшему сыну. На миг наступила тишина. Питер встал. Не отводя взбешенного взгляда от отца (тот

сейчас был похож на поддатого подростка, застигнутого за чем-то очень нехорошим), он взял салфетку, вытер лицо и… снова покачал головой.

– До свидания, – сказал он.

Потом Питер поднялся наверх. Тут мама во весь голос обрушилась на папу, поздравляя его с тем, что тот испортил еще один День благодарения, а я сбежала.

Укрывшись в своей комнате, я поставила альбом. «Music from Big Pink» группы *The Band*.

Не успела я опустить иглу на диск, в мою дверь постучали. Там стоял Питер, на плече небольшой вещмешок из армейского магазина, короткое серое пальто застегнуто на все пуговицы.

– Не уходи. Не бросай меня, – попросила я.

Питер вошел и сел на кровать рядом со мной.

– Иногда единственное, что можешь сделать, это хлопнуть дверью с надписью «Выход», – сказал он мне. – Имей это в виду, Элис.

– Можешь мне поверить, я считаю дни до момента, когда смогу отсюда выкатиться, – ответила я.

– Ничего, тебе не так уж долго осталось… А с каких это пор у тебя развился такой хороший вкус в рок-музыке?

Играли песню под названием «Груз». Мы немного послушали, объединенные непониманием того, почему наша семья не способна поладить, почему каждый раз нам все так тяжело дается.

– Как следует из песни, – грустно заметил Питер, – у каждого есть свой груз, и приходится тащить его за собой. – Обняв меня, он поднял вещмешок. – А теперь, уж прости, я смываюсь.

Выйдя из комнаты на небольшой балкон, я смотрела, как брат торопливо идет к пятнадцатилетнему потрепанному «вольво», которое купил за пятьсот долларов, поступив на факультет теологии в Йеле. Маленькая европейская машина, которую все считали нереально крутой.

Питер. Как я хотела подражать его уму, его начитанности, его независимости. С какой завистью я сейчас смотрела, как брат выезжает с подъездной дорожки и скрывается вдали. Мой отец в это время стоял под голым деревом на лужайке перед домом, с сигаретой в руке. Стоял опустив голову, чтобы не встретиться взглядом с сыном, которого он только что оскорбил, облив водой за обеденным столом. Когда «вольво» выехал и помчался по улице, папа прижал руки к стволу и закрыл глаза. Чувствовал ли он вину, раскаяние, стыд из-за того, что сорвался и завершил День благодарения на скандальной ноте? Как мне хотелось, чтобы он бросился наперерез выезжающему «вольво», начал барабанить по крылу машины, умоляя Питера остановиться, а потом обнял бы сына и все исправил. Но я знала, папа никогда не извиняется, особенно когда понимает, что неправ.

И вот сейчас, спустя несколько месяцев, я снова вышла на тот балкончик после очередной семейной стычки и дол-

го смотрела на отца, которого любила и боялась. Он стоял, прислонившись к единственному дереву на тех трех четвертях акра, которые мы называли своей собственностью. Вот он достал сигарету, весь в лучах лунного света, плечи сгорблены… человек поглощен мировой скорбью оттого, что попал, как в капкан, в эту ненавистную ему жизнь.

На балкон я вышла с пачкой сигарет, которую прятала за книгами на своей полке. Я сделала вторую глубокую затяжку, и тут папа неожиданно повернулся и увидел меня. Бросив сигарету, я раздавила ее ногой. Но папа жестом – прямо как в армии – показал, чтобы я немедленно спустилась к нему. Взяв с кровати куртку, я на цыпочках прокралась по лестнице, не желая, чтобы мама участвовала в предстоящей мне головомойке. Напрасно волновалась: на кухне грохотал маленький телик, и мама, прибираясь, смотрела сериал «Доктор Маркус Уэлби». Я выскользнула за дверь и поплелась к дереву. Думала, что на меня сейчас накричат и на месяц запретят прогулки. Папа вместо этого полез в карман рубашки, вытащил пачку «Лаки Страйкс» и предложил мне сигарету. Я взяла одну и смотрела, как папа щелкнул по дну и, подняв пачку повыше, губами вытащил сигарету. Затем, не успела я глазом моргнуть, появилась его зажигалка, и он зажег обе сигареты. Я была так поражена всем этим, что только неглубоко затянулась несколько раз.

– Если собираешься курить, – сказал он, – то хотя бы держись так, как будто знаешь, что делаешь. Сейчас у тебя вид,

как у несмышленого ребенка, который играет во взрослого… и у него плохо получается. Вот как надо затягиваться.

Следующие пять минут папа учил меня курить, показывая, как правильно втягивать дым в легкие, как держать сигарету между указательным и средним пальцами (я сжимала ее большим и указательным и была похожа, по ласковому папиному выражению, «на какую-то малолетнюю идиотку»), как уверенно жестикулировать, не выпуская сигарету. Импровизированный урок так меня ошеломил, что я безропотно выполняла все указания, хотя «Лаки Страйкс» без фильтра были слишком крепкими и буквально обжигали мне горло. После пары глубоких затяжек мне удалось не зайтись кашлем, и папа отметил это, одобрительно кивнув.

– Давно ты начала курить? – спросил он.

– Да я и не курю, так, разок-другой.

– Ты не ответила на вопрос.

– Примерно год назад.

– Ладно, сейчас тебе того и гляди стукнет восемнадцать, и ты получишь право, гарантированное конституцией, пить и курить сколько хочешь. Но если бы ты пришла ко мне и год назад, я и тогда преподал бы тебе тот же урок. Видно, ты сама хотела, чтобы я поймал тебя с поличным… потому и осмелилась зажечь сигарету на балконе, когда я стою внизу. Дам тебе один совет. Я его получил от отца, когда тот застукал меня за курением в четырнадцать лет и в награду дал мне зуботычину: *Не попадайся*. Но потом усадил меня

на стул и сделал то же, что я сейчас с тобой: научил курить по-взрослому…

Папа улыбнулся, вспомнив это, – один из тех редких случаев на моей памяти, когда он улыбался, говоря о своем отце.

– Твой дед высаживал по две пачки в день. И поплатился – заработал эмфизему, которая его и унесла.

В моей памяти всплыла картинка: дедушка Патрик навещает нас в Манхэттене за год до нашего переезда в пригород. Невысокий, сморщенный, он приехал в сопровождении молодой толстушки, которая, как мне показалось, была слегка навеселе, но бодро катила за ним кислородный баллон – без него дедушка не выходил.

– Если дедушка Патрик умер от сигарет, – поинтересовалась я, – зачем же ты подначиваешь меня курить?

– Не я же велел тебе начать, ты уже давно куришь. А так-то да, в последнее время газеты только и пишут, что о сигаретах, вызывающих рак. Но твоя сплетница-бабушка дымила, пока эмфизема ее не сразила в семьдесят девять. Не так плохо для старой клячи, что выкуривала по две пачки. Хотя, думаю, такая ее долгая жизнь была неслучайна. Во всем имеется смысл – стоит учесть, что Богом ей отведенная роль была сводить всех с ума. Хочешь – сходи в библиотеку, полистай номера «Нью-Йорк таймс» с предупреждениями главного врача США, а там решай сама, стоит тебе дымить или нет. Только не скрывай от меня такие вещи. Вообще ничего от меня не скрывай.

Ничего от меня не скрывай. В этих словах эхом отозвались те, что сказала мне мама несколькими месяцами раньше, когда, в редком приступе солидарности с дочерью, она отвела меня к своему гинекологу и заставила начать принимать таблетки. Это случилось сразу после того, как две девочки в моем классе забеременели.

– У меня в свое время таких возможностей не было, – сказала она. – И то сказать, когда я была твоего возраста, в Белом доме был Рузвельт, и порядочные девочки из Флэтбуша такими вещами не занимались. Мир меняется, я даже не знаю, что у тебя и Арнольда на уме. Но знаю одно: лучше быть благоразумной, чем несчастной.

Честно говоря, сама мама всегда была и благоразумной, и несчастной. Пугающая осмотрительность была ее образом жизни. Но тогда я была очень благодарна ей за то, что она отвела меня к доктору Розену, учитывая, что мы с Арнольдом окончательно «перешли черту» всего за две недели до того, оба впервые. Когда мы вышли от врача в Стэмфорде (и сразу зашли в ближайшую аптеку, поскольку мама заявила: «Я не допущу, чтобы фармацевты в Олд-Гринвиче узнали, какие таблетки ты принимаешь»), там у прилавка с закусками она взяла мне сэндвич с жареным сыром и вишневую колу и заговорила:

– Твой отец не должен об этом узнать ни при каких обстоятельствах. Как всякий ирландский католик, чтоб им пусто было, он считает, что секс – это для мужчин, а чистые

девушки, вроде его любимой доченьки, такими штуками не занимаются. Пусть и дальше тешится иллюзиями, а ты знай, что с любыми проблемами в этой области можешь обратиться ко мне. Не скрывай от меня ничего.

Услышав, как папа повторяет ту же фразу, вручая мне еще одну сигарету, я поймала себя на мысли: во всех ли семьях плетутся такие же интриги? Часто ли родители пытаются завоевать расположение своих детей, внушая, что им можно доверять, и одновременно давая понять, что в доме нет единого фронта?

– Твоя мать меня бы убила, узнай она об этом. Она же ненавидит курение, – сказал папа, прикуривая. – Так что держи свои сигареты от нее подальше и не забывай пожевать вот это перед тем, как в дом заходить.

Бросив мне полпачки мятной жвачки, он наблюдал, как я глубоко затягивалась, и одобрительно кивал, когда я медленно выдыхала дым.

– Знаешь, как я выжил на Окинаве? – спросил папа. – Выбрался оттуда живым, один из шестерых…

– Потому что ты везучий? – отозвалась я и подумала: а ведь папа впервые заговорил со мной об этом.

– Потому что я понял уже через два дня, что все мы подохнем. И тогда я спросил Густавсона, нашего капитана, не нужен ли ему вестовой, чтобы доставлять приказы и донесения в тыл и обратно. Я сказал, что пробегаю стометровку за пятнадцать секунд. Было это часов в шесть утра, затишье

между боями. Мы засели в окопе, за ним было еще два окопа с нашими солдатами. Стоял сезон дождей, и земля совсем раскисла от воды. От нас до дальнего окопа было, должно быть, с четверть мили. Густавсон сказал, что дает мне девяносто секунд, чтобы добраться туда и вернуться к нему. Если получится, стану его вестовым. Не уложусь в отведенное время – снова отправлюсь на передовую. Он скомандовал: «Бегом марш!», и я рванул как ненормальный. Грязь во все стороны, а я бегу, огибаю ямы, провалы, людей, добегаю до окопа и назад, чтоб меня, к переднему окопу. Это были самые длинные полторы минуты в моей жизни. И вот я рухнул перед ним на колени, а он сказал: «Девяносто четыре секунды». Протянул руку, схватил за ворот рубашки и рывком на ноги поставил. Потом сказал, что двое парней, которых он испытывал накануне, показали результаты 106 и 110 секунд. Так что я оказался на двенадцать секунд быстрее, а в разгар сражения это, по его словам, могло оказаться решающим.

Папа закурил следующую сигарету.

Я жестом попросила его дать одну и мне.

– Конечно, после этого все ребята из Проспект-Хайтс[7] в моем взводе меня возненавидели. Называли подлецом, крысой за то, что сбежал с передовой. Перестали со мной общаться. Слова мне не говорили, даже не кивали в мою сторону, как будто меня нет. А потом, один за другим, они начали погибать. Первым был Рокко – наступил на фугас во время

---

[7] Проспект-Хайтс – район в Бруклине.

ночного патрулирования. Ему оторвало ноги, а медики смогли до него добраться только к восходу солнца, за это время он истек кровью. Бадди О'Брайана заколол штыком тот безумный японец, который умудрился пробраться в окоп перед рассветом, когда все легли поспать хоть пару часов. Бадди был первым, на кого он наткнулся. Выпотрошил его. От криков проснулся Густавсон и снес япошке голову из своего боевого револьвера. К концу первого месяца все мои дружки-земляки отправились на тот свет. Даже капитан попал под раздачу – схлопотал снайперскую пулю. А я? Я просто продолжал бегать. Через восемьдесят два дня битва[8] закончилась. Я выжил. Меня после того, как мы захватили остров, даже повысили до старшего сержанта.

Повисло долгое молчание. Я судорожно придумывала, что бы сказать в ответ, но не знала, как переварить рассказанное отцом. Когда он затягивался в очередной раз, я увидела, что его рука дрожит. Тогда я по наитию положила руку ему на плечо. Отец напрягся.

– Я никогда не знала, что ты прошел через все это, – сказала я.

– Сам не пойму, зачем рассказал тебе. – Отец говорил очень тихо, почти шепотом.

---

[8] Битва за Окинаву – операция по захвату японского острова Окинава войсками США при поддержке американского и британского флотов. Битва стала предпоследней операцией по высадке морского десанта во время военных действий и последним перед советско-японской войной значительным сражением Второй мировой войны. Бои шли 82 дня и окончились 23 июня 1945 г.

– Но это потрясающая история. Ты все это пережил, когда был всего на год старше, чем я сейчас. Ну, то есть просто обалдеть, какой ты храбрый, пап.

Он стряхнул с плеча мою руку и посмотрел на меня:

– Никогда больше не пытайся меня утешать и называть это гребаной храбростью, – прошипел отец.

– Но, пап…

– Я бегал. Ты это поняла? *Я бегал*.

– Но ты же бегал по заданию офицеров. Под огнем. Увертываясь от снайперов. Ты же бежал оттуда…

– Что ты понимаешь? Сопливая девчонка!

– Я просто хотела сказать, как геройски…

– Я был трусом. Они погибли, а я нет. Потому что я бегал.

Указательным пальцем папа ткнул меня в плечо, подчеркнув последнее слово. Это было больно – палец в качестве осязаемого восклицательного знака. Я разревелась, пораженная его реакцией, выплеснувшимися на меня злобой и гневом, его яростью из-за того, что он придумал способ выжить, когда все его товарищи ринулись в бой и погибли.

– Не надо было все это ворошить, – вздохнул папа. – Двадцать шесть лет прошло… а всё как будто вчера. Как фильм, которому уже давно бы пора закончиться, а гребаный киномеханик, сволочь такая, все крутит и крутит и никак не желает выключить это чертово кино.

Много лет спустя, воспроизводя эти сцены для каждого из четырех психотерапевтов, к которым я обращалась на раз-

ных стадиях своего депрессивного взросления, я сформулировала для себя одну странную штуку: какой бы непонятной и обескураживающей ни была папина реакция на мою попытку утешить его, в тот момент мы были близки, как никогда. Потому что это было одно из тех редких мгновений, когда отец разрешил заглянуть к себе в душу и увидеть, какая огромная боль сидит у него внутри.

– Может, когда-нибудь это перестанет так сильно тебя мучить, – сказала я папе.

– Да, может, когда подохну, – усмехнулся он.

– Не говори так.

– Не надо меня утешать, Элис. Я этого не заслуживаю.

Я снова положила руку папе на плечо. В этот раз он ее не сбросил. Только опустил голову и, подавляя рыдание, снова сделал глубокую затяжку.

– Попытайся меня простить, – пробормотал он.

Потом как-то наспех приобнял меня и вернулся в дом. Я стояла там, на холоде, докуривая сигарету, и думала, что совсем мало знаю очень о многом. И о том, что, как ни близки они нам, как ни вездесущи в нашей жизни, все равно родители – неизведанная страна и некоторые ее области полностью от нас закрыты. И о том, как часто грустят мои мама и папа. Особенно когда они вместе.

Не успел папа скрыться в доме, как я услышала громкий мамин голос. И все покатилось по новой: мама грызла отца, он называл ее худшей ошибкой в своей жизни. Я докури-

ла сигарету. Тихонько прошла обратно незамеченной. Поднялась в свою комнату, закрыла дверь и поставила великую Джони Митчелл.

Наконец пришел сон, за ним рассвет, а с первым светом крики снизу:

– Элис! Спустись, открой дверь наконец! И разве тебе не пора в школу?

Мама! А следом кто-то забарабанил во входную дверь. И опять звуки перебранки родителей на кухне. Я посмотрела на будильник у кровати. Семь сорок одна. Черт, черт, черт! Первый учебный день в школе начинался через двадцать минут, а если явишься в 8.05, в награду оставят после уроков. Я выскочила из постели и оделась за пять минут. Стук в дверь тем временем становился все громче… как и знакомые злые голоса. Схватив портфель, я скатилась по лестнице. За дверью обнаружились мормонские миссионеры, два парня с улыбками до ушей. Они были ненамного старше меня, оба чистенькие, с очень светлыми волосами и очень белыми зубами, в одинаковых черных костюмах, белых рубашках с полосатыми галстуками, на лацканах пиджачков беджи с именами.

Заметив мое замешательство, тот из них, что был выше ростом, широко улыбнулся:

– Доброе утро, юная леди! А у меня для вас хорошая новость!

– Что за хорошая новость? – спросила я.

– Самая лучшая, какую только можно представить! У вас появилась возможность прожить остаток вечности рядом со своей семьей!

Я тупо уставилась на Аммона[9]-старшего, силясь понять, верно ли я его расслышала.

– Только подумайте, – вмешался его приятель, – рай небесный навсегда с мамой и папой.

– В *моем* представлении так выглядит ад, – ответила я.

И сбежала с крыльца, чтобы начать свой последний школьный год.

---

[9] Аммон (Амон) – имя, распространенное среди мормонов.

Глава вторая

Таинственные звонки начались на следующий вечер. Часов в восемь я сидела у себя наверху и писала сочинение. Зазвонил телефон. Я услышала, как папа внизу снял трубку, через несколько секунд положил, а мама крикнула с кухни:

– Кто там звонит так поздно?

– Не туда попали, – ответил папа.

Наутро, во время завтрака, телефон затрезвонил снова. Папа схватил трубку. Услышав голос на другом конце провода, он скованно ответил:

– Вы ошиблись номером.

Мама жарила яичницу. Я увидела, как напряглось ее лицо.

– Снова те же ошиблись, что и вчера? – спросила она.

– Другой голос. – Папа закурил. – Если это снова повторится, позвони в телефонную компанию.

Это повторилось. Когда я вернулась из школы, телефон разрывался. На кухонном столе лежала записка от мамы: «Я на уроке, буду дома около 5:30». В тот год она работала волонтером, вела уроки внеклассного чтения. Школа располагалась в Стэмфорде, в районе чернокожих и латиноамериканцев. Раньше мама часто жаловалась, что жены-домохозяйки в Олд-Гринвиче ничего не делают, только убивают время за теннисом, готовкой и любительскими театральными спектаклями, возят повсюду детей (аж до шестнадцати

лет, пока те сами не начнут водить машину) да часами сплетничают за сангрией и крекерами с сыром. Для нее поездки в Стэмфорд дважды в неделю стали возможностью привнести в свою жизнь немного свободы и социальной значимости.

Я вернулась домой после очередного скверного дня в школе, где старательно пыталась не попасть на глаза Жестоким – группе моих одноклассниц, превращающих в ад жизнь тех, кого они считали непохожими на себя. Телефон все звонил.

– Дом Бернсов. Кто говорит?

Решительный щелчок на другом конце провода.

Через пять минут – я как раз насыпала в тарелку «Кэптен Кранч»[10] – пришел папа. Его появление в четыре часа дня меня удивило.

– Нужно собрать вещи, – объяснил он. – Вечером снова лечу в Чили. Ничего не поделаешь. Эти козлы снова заговорили о национализации моей шахты.

«Козлами» было правительство Сальвадора Альенде – избранные демократическим путем марксисты, неожиданно с небольшим перевесом одержавшие в 1970 году победу на выборах в Чили. Они постепенно начинали прибирать к рукам все компании с иностранной поддержкой, в особенности их интересовали медные рудники страны. Последние десять лет папа работал управляющим в Международной медной компании (ММК), имевшей долю в медных приисках на Га-

[10] Хлопья для завтрака.

ити и в Алжире, а также в ряде регионов Южной Америки. Пятью годами раньше отец начал ездить в Чили – так совпало, что ММК изучала возможность разработок в пустыне Атакама, – и страна сразу поразила его воображение. Папа увлекся ей с первой поездки. «Лучшее место в мире», – говорил он, показывая мне фотографии, на которых он и местный гид верхом на ослах обследовали широкую полосу песка. Он проводил много времени в Сантьяго, даже пытался выучить испанский и несколько раз отмечал, что отныне его любимый напиток – местный коктейль под названием «Ядреный писко».

«Моя бы воля, завтра же переехал бы туда». Подобные замечания папа всегда отпускал, убедившись, что мама его слышит, а та часто рычала в ответ: «Только отдай мне ключи от дома, свои грошовые сбережения тоже оставь и можешь катиться на все четыре стороны. Здесь от тебя пользы никакой».

– Надолго ты на этот раз? – поинтересовалась я.

– На недельку, может, на две.

– Но у меня же на следующей неделе собеседование в Бодине.

– Я скажу Питеру, чтобы он тебя отвез… избавлю тебя от такой забавы, как шесть часов в машине бок о бок с мамой. Прости, детка, но это работа, и от нее многое зависит.

Я понимала, в чем была истинная причина, по которой папа боялся, что его рудник отнимут. Он знал, что лишит-

ся предлога для отлучек по полмесяца. В этом состоял еще один из моих комплексов в отношении отца: с одной стороны, мне хотелось больше с ним общаться, с другой – я понимала, почему он так стремится сбежать от мамы – бесконечные скандалы, полное непонимание и постоянная напряженность в отношениях.

– Когда я вернулась из школы, был еще один странный звонок, – сообщила я.

– Кто звонил? – спросил папа.

– Не знаю, – ответила я. – Когда там услышали мой голос, положили трубку.

– Надо звонить в телефонную компанию, – вздохнул отец и скрылся в своей комнате в конце коридора.

Я услышала, как вращается диск набора номера.

И сразу после этого папин шепот:

– Я же просил тебя не звонить сюда.

Потом дверь в его комнату закрылась. Отец что-то скрывает, подумала я. Я знала, что никогда не спрошу его об этом секрете.

У себя отец пробыл очень долго. Услышав, что на гравийной дорожке зашуршали шины, а входная дверь открылась и с грохотом захлопнулась, я спустилась, чтобы спросить у мамы, можно ли мне пойти погулять с Арнольдом. Но не успела задать вопрос, как раздался ее вопль:

– Никуда ты не поедешь, зараза!

– Криками делу не поможешь, – отрезал папа.

– Я не разрешаю.

– *Что-что*?

– *Не разрешаю*. Если уедешь, можешь домой не возвращаться.

– А если останусь, потеряю работу. Потому что, нравится тебе это или нет, этот рудник – мое детище. А если у меня отнимут это дитя…

– Ты только послушай себя: *мое дитя, мое дитя*… Ты хоть раз называл так собственных детей? Или *меня*?

– Не дави на жалость.

– Если тут кто-то жалок, так это ты. Маленький мальчик, который спасается бегством…

– Может, ты решила покончить с этим гребаным браком? Валяй, возражать не буду.

– Смотри, я ведь так и сделаю, – вопила мама.

– Да на здоровье. – Отец хмыкнул.

Снова звук шин во дворе, снова шуршание гравия. Приехала машина, чтобы отвезти папу в аэропорт.

Он вышел в коридор. Я хотела было взбежать вверх по лестнице, чтобы он не догадался, что я подслушивала. Но опоздала.

Увидев, как я карабкаюсь по ступенькам, отец удержал меня за руку.

– Ты все слышала? – шепотом спросил он.

– Ну, так, – буркнула я.

– Плюнь, не обращай внимания. Обычное дело. Никуда я

не денусь. Как и мама твоя. Мы с этим свыклись – по-своему это, конечно, трагедия. Но ничего, это не страшно.

Сказать по правде, я всегда боялась, что папа от нас уйдет. Даже сейчас, когда мне оставалось меньше года до поступления в колледж, я опасалась, что если он сбежит от нас в Южную Америку, мама превратится в копию собственной матери и примется пилить меня без продыху.

Я начинала тогда кое-что понимать о своей матери, и это все сильнее меня беспокоило. Во многом она до сих пор оставалась маленькой девочкой, которая никак не может оторваться от собственной матери. Моя бабушка Эстер жила в Манхэттене, пока год назад не умерла в канун Йом-кипура[11] (и в этом, по словам Питера, была своя еврейская справедливость). В моей памяти Эстер была всегда старой, всегда сварливой. Когда бабушка познакомилась с моим дедом, Германом, ей был двадцать один год, дед тогда только вернулся с Первой мировой, вначале он служил в пехоте, потом в саперных войсках. Паренек с Манхэттена, из квартала Йорквилл[12], Герман в восемнадцать лет пошел в армию добровольцем, а вернувшись, начал изучать алмазный бизнес. На моей памяти он всегда щегольски, по моде 1940-х,

---

[11] Йом-кипур («День искупления», «Судный день» или «День всепрощения») – важнейший праздник в иудаизме, день поста, покаяния и отпущения грехов. По иудейским верованиям, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за прошедший год.

[12] Йорквилл – квартал в верхнем Ист-Сайде. К началу XX века его населяли ирландцы, немцы, евреи, венгры, чехи, словаки и итальянцы.

был одет. Когда они с Эстер поженились, ее семья была более обеспеченной и считала Германа ниже себя. По словам папы, этот брак был катастрофой с самого начала. Но дело было в конце 1920-х, когда о разводах и не думали. Разве что богачи эпохи джаза могли это себе позволить. Через семь лет после свадьбы родилась их единственная дочь, Бренда, и на этом основании бабушка никогда в жизни не работала. Маму в детстве бесконечно баловали, мир вертелся вокруг нее, а Эстер никогда не оставляла девочку одну. Независимости у моей будущей мамы было мало, а точнее, не было совсем. Окончив женский колледж, девушка вернулась под крыло родителей, в их квартиру в Верхнем Ист-Сайде, там она и жила, пока не вышла замуж за моего отца. Мысли о том, что Бренда могла бы жить самостоятельно, никогда не поощрялись. Через знакомых дедушки она устроилась ассистентом продюсера на Эн-би-си[13] и три года работала с такими звездами, как Эббот и Костелло, Сид Сизар[14] и даже с приобретшим популярность оперным тенором Эцио Пинца.

Мужчины за Брендой ухаживали, приглашали в рестораны. Дантист по имени Ленни Мейлмен хотел жениться. «Но как вы себе это представляете, я – жена дантиста?» А потом появился Брендан Бернс. Молодые люди познакомились на свадьбе его сестры Мартины. Ленни не хотел отпускать Бренду на свадьбу. В ту субботу у его племянника была

---

[13] Эн-Би-Си (NBC) – американская телевизионная компания.

[14] Эббот и Костелло, Сид Сизар – американские комедийные актеры.

бар-мицва. Представляете, моя мама ведь могла послушаться дантиста и, как преданная подруга, отправиться с ним на Лонг-Айленд смотреть, как племянник Ленни провозглашает: «Сегодня я стал мужчиной». Тогда меня бы сейчас не было. Так уж устроена жизнь. Ты оказываешься в определенном месте и в определенное время. Озираешься, потом замечаешь чей-то заинтересованный взгляд, вас знакомят, вы просто болтаете о том о сем… и вся твоя жизнь меняется.

Мама часто вслух жалела о том, что пошла тогда на свадьбу Мартины, тем более что ее будущая невестка со временем превратилась в горькую пьяницу, и мама не скрывала своего презрения к ней. Но главная причина, по которой она жалела о встрече с отцом, заключалась в другом: когда она забеременела Питером, это положило конец ее карьере на Эн-би-си.

Хотя, как я узнала от самого Питера, хоть мама при каждом удобном случае и попрекала его тем, что он помешал ее карьере, на самом деле в компании ей предложили уйти по-хорошему еще до того, как она узнала, что станет матерью. А Питеру об этом поведал дедушка, когда узнал, что все эти годы его внук живет с чувством вины. Дедушка даже позвонил дочери и отчитал ее, заявив, что постыдно вешать такие обвинения на собственных детей. Мама потом отругала Питера за то, что он проболтался о ее жалобах деду. А потом дед отругал ее за то, что она ругала Питера, и в нашем присутствии выпалил ошеломляющую правду: маму уволили из

Эн-би-си за то, что она «некомпетентная невротичка». После этого мама в слезах выскочила из-за стола, убежала наверх и безудержно рыдала там до тех пор, пока в спальню не отправился Питер и не сказал что-то такое, что заставило ее успокоиться.

Ах, Питер! Адама мама могла запугать. Меня заставила поверить в то, будто я веду с ней бесконечную борьбу за власть. Но только непоколебимое спокойствие и уверенность Питера ее всегда усмиряли. Мама и пяти минут не могла усидеть на месте, она частенько распахивала дверь моей комнаты и вихрем врывалась внутрь. Однажды, когда мне было пятнадцать, я застукала ее за чтением моего дневника, и она заявила: «Я имею право знать, о чем ты думаешь». Мама непременно должна была во все вмешиваться и постоянно совать свой нос в чужие дела… Она пришла в ужас, узнав однажды, как ее воспринимают трое ее детей – как женщину, находящуюся в плену своих многочисленных патологических комплексов. Мама без конца повторяла мне во время наших ссор: «Ты же знаешь, я тебя люблю… но ты мне никогда особо не нравилась». Услышав эту фразу в первый раз, я страшно расстроилась. От мамы это не укрылось, но она только пожала плечами: «Правда не всегда приятна».

Когда она во второй и третий раз сообщила мне о моей неспособности нравиться, я невольно подумала: *видно, ее взгляд на меня никогда не изменится*. Безостановочной критикой всех моих поступков она сумела уничтожить во мне

уверенность. Когда в прошлом семестре я получила четверку с минусом за семестровую работу о Синклере Льюисе, мама прочитала мое сочинение, взяв тетрадь в мое отсутствие, и заявила:

– Я считаю, что учитель прав. Твои мысли о Бэббите не очень-то оригинальны.

– Почему ты опять копалась в моих вещах, мам?

– Потому что это мой дом, и пока ты живешь под моей крышей, я имею полное право взглянуть на твои школьные задания.

– Нет, потому что это вторжение в мою частную жизнь.

– Ты просто злишься, потому что понимаешь, что учитель прав: ты очень ограниченная и плохо соображаешь, когда берешься судить о важных вещах, таких, например, как великий роман.

Я попятилась от матери, будто меня ударили:

– Мама, за что ты со мной так?

– Я только повторила то, что написал твой учитель. Он еще расщедрился, что поставил тебе хорошую оценку.

В такие минуты я отлично понимала, почему отец с радостью отправляется в аэропорт. Так было и сегодня вечером. Как только такси умчало папу в сторону аэропорта Джона Кеннеди, где его ждал рейс до Чили, я поднялась к себе в комнату, где уже доигрывал Джеймс Тейлор. Через несколько минут мама постучалась в дверь и тут же распахнула ее.

– Почему ты не подождала, пока я разрешу войти? – спро-

сила я.

– Еще и ты будешь меня донимать? Давай расскажи мне, какая я плохая. Как я все порчу и ничего не могу сделать хорошо. Не то что твоя обожаемая Синди Коэн, да?

Мама всхлипнула. А меня в очередной раз кольнуло чувство вины. Синди Коэн была матерью моей лучшей подруги Карли. Маме было известно, что я смотрю на миссис Коэн как на образцовую фигуру матери для *уроженки Нью-Йорка в изгнании*. С ней можно было говорить о любых проблемах, возникающих в жизни, не опасаясь осуждения или беспощадной отповеди. Я моментально ссутулилась – инстинктивная реакция на ситуацию, когда я чувствовала себя провинившейся маленькой девочкой. Мама это тоже заметила. Победа осталась за ней, а я проиграла вчистую.

– Ты все уроки сделала? – спросила она.

Я кивнула.

– Выпить хочешь? «Дюбонне». Мое любимое.

– Серьезно?

– Нет, я просто решила тебя испытать, проверить, нет ли у тебя склонности к выпивке, а потом раскричаться, что ты малолетняя пьянчужка.

– Я не такая, – насторожилась я.

– Вообще-то, я ничуть не сомневаюсь. Потому и предлагаю тебе выпить. Пойдем вниз, хорошо?

– Ладно.

Я была приятно удивлена таким поворотом дела: в кои-

то веки мама настроена на мирное общение. Мы перешли на кухню.

– Твой отец считает «дюбонне» напитком для барышень. Но, насколько мне известно, в Париже он очень популярен. Когда-нибудь, до того как состарюсь или умру, съезжу и поживу там месячишко, хоть я и не говорю на французском языке. Париж для меня символ всего, в чем я себе отказывала.

Взяв щипцы из нержавейки, мама бросила в бокал пару кубиков льда, добавила ломтик лимона и налила мне полбокала «дюбонне». Мы чокнулись, я пригубила напиток. Мне показалось, что он немного сладковат, но в голову ударил. Я заулыбалась, подумав: *курила «Лаки Страйк» с отцом, а теперь вот выпиваю с мамой*.

– Хочу тебе сообщить, – сказала мама. – На будущий год, когда ты поступишь в колледж, мы с отцом переедем обратно в город.

– А папа что об этом думает?

– Он пока не знает, но я твердо намерена настоять на своем.

– А как ты думаешь, что он на это скажет?

– Он скажет мне, что на приличную квартиру нужно не меньше восьмидесяти тысяч, а этот дом можно продать штук за пятьдесят – пятьдесят пять. И придумает массу других отговорок. Но меня это не волнует. Довольно я мучилась в этой дыре. Десять лет в этом говенном городишке, со всеми

этими Горди и Бобби… И еще я планирую снова начать работать. Выучиться на риелтора.

– Я думала, тебе преподавать нравится. Может, захочешь продолжить то, что делаешь в Стэмфорде?

– Да ну, это же всего лишь внеклассное чтение. Чтобы стать настоящим преподавателем, нужно сначала несколько лет отучиться. А риелтором я смогу заработать реальные деньги. Правда, положение на рынке в Нью-Йорке сейчас ужасное. Но даже когда цены на недвижимость низкие, можно добиться успеха, если умеешь вертеться. Словом, самое главное, я хочу вернуться в город.

– Это здорово, мам, – сказала я, пытаясь понять, что это было – старая заезженная пластинка, бесконечные многолетние разговоры о том, что пора уносить отсюда ноги, или что-то новенькое?

– Пойми, я торчу здесь только ради того, чтобы дать тебе доучиться последний год в школе. А как только закончишь и поступишь в колледж, сбегу отсюда, от всех этих идиоток вроде Силли Квинн.

Силли (представьте, это было ее настоящее имя) Квинн была матерью Бобби Квинн, королевы Жестоких. Отцом Бобби был капитан местной пожарной части, и это, как она считала, придавало ей некий статус в маленьком городке. Она и ее правая рука, Деб Шеффер, постоянно клевали мою подругу Карли Коэн, отчасти за то, что отец Карли писал научно-популярные статьи для таких изданий, как «Атлантик»

и «Харперс»[15], а еще потому, что ее мать была психологом и имела частную практику, но подрабатывала также в Стэмфордской психиатрической больнице.

«Мама сказала, что твоя мамаша целыми днями оттягивается с психами и дебилами», – шипела Деб каждый раз, стоило Карли показаться на горизонте. Но решающий удар всегда наносила Бобби, неизменно обзывая Карли «жирной лесбой». Потому что да, Карли была довольно плотной и небольшого росточка. Конечно, моя подруга пыталась давать отпор. Один раз она посулила, что Бобби выйдет замуж за торговца подержанными автомобилями и будет жить с ним в трейлере. Бобби тут же со слезами на глазах побежала к тренеру женской волейбольной команды, капитаном которой была, и пожаловалась, что ее «ужасно оскорбили». Карли тут же вызвали к директору и объявили выговор за недоброжелательство и классово-ориентированный выпад. А когда она попробовала возразить, что те подружки Бобби обзывают ее намного хуже, наш директор (посещавший ту же католическую церковь, что и родители Бобби) заявил, что дело в «ее манере одеваться, которой она провоцирует сверстников».

Дело было в начале семидесятых, тогда геям и в голову не приходило публично заявлять о себе. Приходилось таиться, и хотя мне Карли доверилась, о том, чтобы вслух заявить о своей гомосексуальности, не могло быть и речи, тем более в ее возрасте, да еще в таком благопристойном и унылом ме-

---

[15] «Атлантик» и «Харперс» – американские литературные журналы.

сте, каким был Олд-Гринвич. Тем не менее Карли выразила свою позицию через манеру одеваться: синий джинсовый комбинезон, рабочие ботинки, белая футболка… И волосы такие короткие, что стрижка почти напоминала армейскую. Для Бобби, Деб и их единомышленниц из числа Жестоких такой внешний вид Карли был настоящим подарком. Как и для парней, с которыми те девчонки общались. И здоровяки спортсмены, тупые зубоскалы, чьи папаши управляли местными дилерскими конторами Форда и Крайслера, и прилизанные мальчики с именами типа Брэдфорд, Джейсон или Эймс, всерьез поднаторевшие в игре в гольф или в теннисе, – все они тоже открыто демонстрировали свое презрение к Карли. А также ко мне и Арнольду.

Арнольд… Высокий, худощавый Арнольд, чья мать всегда одевала сына одинаково: слаксы, коричневые или бордовые джемпера с круглым вырезом, рубашки с пуговками на воротнике и мокасины. Арнольд терпеть не мог эту одежду, но не видел достаточных оснований для бунта. Примерно через неделю после того, как мы начали встречаться, Арнольд сообщил мне, что в будущем твердо намерен стать судьей Верховного суда. Он был очень способным, но очень осторожным мальчиком и все прошлое лето отпахал стажером в крупной юридической фирме в Нью-Йорке. Пять дней в неделю Арнольд мотался туда в одном и том же коричневом костюме от «Брукс Бразерс», купленным его матерью на распродаже. Он никогда не выражал недовольства поряд-

ками, царящими в Олд-Гринвич, и использовал все свои – весьма неплохие – навыки в дипломатии и умении вести диалог, чтобы хладнокровно игнорировать насмешки, нацеленные на его еврейское происхождение, некоторую эксцентричность и очки с толстыми, как бутылочное донце, стеклами. Обычно остроумия недоброжелателей хватало только на такие выражения, как «раввин-зубрила» или «четырехглазый еврей». Интересное трио у нас сложилось – я, Карли и Арнольд. Хотя Карли считала моего парня немного занудным и «чудиком из тех, кто всерьез читает все сноски в каждом учебнике», а Арнольд называл Карли «скрытой милитаристкой», мы образовали островок нью-йоркской еврейской самобытности среди БАСП[16]-сообщества, отвергающего всех, кто не вписывался в рамки их представлений о жизни.

Несколько месяцев назад, перед самым началом летних каникул, я имела удовольствие наблюдать, как Арнольд отбрил Джейсона Фенстерштока, одного из самых задиристых парней в нашем классе, после того, как тот обозвал моего друга «мистер Пархач». Арнольд, глазом не моргнув, участливо спросил Джейсона, не нацист ли тот, особенно с учетом его немецкого происхождения. Тихо, но настойчиво Арнольд развивал эту тему и дальше в присутствии собравших-

---

[16] БАСП (англ. WASP) – белые англо-саксонские протестанты. Популярное идеологическое клише в Северной Америке середины XX века; термин, обозначавший привилегированное происхождение.

ся в школьной столовой ребят, при этом говорил он спокойно и не повышая голоса. Он забросал Джейсона вопросами: «Слушай, а твой отец (он же антисемит, весь город это знает) хранит, наверное, дома небольшую коллекцию свастик? Он, наверное, с ума сходит по песням вроде „Хорст Вессель“? А ты не замечал, не поглядывает ли он на мускулистых молодых людей, он же, наверное, охоч до представителей сверхрасы?»

Фенстершток – паршивый отморозок с этакой, знаете, смесью самоуверенного напора и ханжества – нашелся наконец с ответом: он облил Арнольда шоколадным молоком.

На другой день в школе на утренней линейке Карли выступила вперед и рассказала одноклассникам, что в следующие выходные она организует антивоенную акцию протеста перед зданием местной призывной комиссии в Стэмфорде. Правда, среди нас были и те, кто поддержал ее и зааплодировал, раздались даже один-два выкрика: «Здорово, молодец!» Но они потонули в возглавляемом Жестокими громком хоре насмешек.

В тот день после уроков мы с Карли решили воспользоваться теплой погодой и прокатиться на велосипедах до Тоддс-Пойнтбич. Это был наш местный пляж, всегда содержавшийся в чистоте, и там не было киосков с хот-догами и гамбургерами. В середине недели пляж обычно пустовал. Однако сегодня, появившись там, мы с Карли обнаружили, что нас опередили Деб Шеффер и ее парень – болван Эймс

Суит, а также еще шесть спортсменов и чирлидерш из их компании. Увидев меня и Карли на пляже, Эймс зашагал к нам по песку, на ходу махнув Деб и остальным. В считаные секунды мы с Карли были окружены.

– Мы не разрешаем лесбам и левым ходить по песку, – заявил Эймс.

Все девчонки окружили Карли, скандируя:

– Лесба, лесба, лесба.

Я хотела пройти вперед, но девчонки преградили мне путь. Карли тоже пыталась вырваться, однако парни зажали ее в тиски.

Из глаз у моей подруги брызнули слезы. И вдруг, откуда ни возьмись, появился Шон, местный спасатель. Этот парень лет двадцати с небольшим всегда казался мне малоинтересным: рыжеватый, с неплохой мускулатурой, он в разговоре никогда не смотрел собеседнику глаза. В общем, невыразительный тип из разряда вечно бубнящих: «Ага, чувак, всякое бывает». При всем своем занудстве Шон классно плавал, одним из первых занялся скейтбордингом и не боялся открыто высказываться, если видел, что творится какая-то дурость.

– Что у вас тут происходит? – спросил он.

Карли к этому времени плакала навзрыд и не могла ничего сказать.

– Да вот они нас на пляж не пускают, – ответила я.

– Врет она все, – фыркнула Деб Шеффер.

– Тогда почему моя подруга плачет? – возразила я.

– Потому что мы засекли, как они целуются, – объявил Эймс.

Карли внезапно пришла в ярость:

– Что ты врешь?! Врун несчастный! – закричала она.

– Ух ты, оказывается, жирная лесба умеет говорить, – делано удивился Эймс.

Бывают моменты, когда люди переступают границу, которую точнее было бы назвать точкой невозврата. Услышав этот комментарий, слетевший с уст Эймса, Шон отрезал:

– Ну, все, чувак. Я запрещаю тебе посещать этот пляж.

– Ты чё, в натуре, пошутить со мной решил? – взъелся Эймс.

– Я с тобой не шучу, – ответил Шон. – Запрещаю здесь появляться не только тебе, но и всем твоим друзьям тоже.

– А пошел ты, – огрызнулся еще один из парней, Ронни Ауэрбах.

– Это вы все отсюда ухо́дите, – хладнокровно заявил Шон.

– Или что? – вскинулась Дебби.

– Или я звоню в полицию, – усмехнулся Шон.

– На каком основании? – с вызовом поинтересовался Эймс.

– Агрессия. – И Шон положил руку на плечо Карли, успокаивая ее. Потом, взглянув на меня, спросил: – Почему бы вам, девчонки, не пойти поплавать?

– Спасибо, друг, – сказала я и за руку повела Карли к берегу.

– Да ладно, я просто делаю свою работу. И на этом пляже, *моем пляже*, мы такого не потерпим.

– Любитель педиков, – бросила Деб Шеффер.

– Сам небось голубой, – поддержал ее Эймс.

Так совпало, что чуть позже появилась полицейская машина – пляж был частью территории, которую патрулировали копы Олд-Гринвича. Зайдя по щиколотку в воду, я увидела, как одних из местных полицейских – рослый итальянец по фамилии Проккачино – выходит из патрульного автомобиля. Возвращаясь, я услышала, как коп говорит Шону:

– Если бы мы каждого задерживали за обзывания…

– Это были не обзывания, – возразил Шон, – а гнусные издевательства.

– Та паскуда сама нас обозвала, – сказал Эймс.

– Это ты лживая злобная паскуда, – бросила ей Карли. – Я тебе слова не сказала.

– Она говорит правду. – Шон повернулся к копу. – Я был тут. И все слышал – она им ничего такого не говорила.

– Она еще в школе нас оскорбляла, – нашлась Деб.

– Девчачьи выдумки я за милю чую, – хмыкнул Шон. – А между нами всего-то пара футов.

– По-моему, тут чисто школьные разборки, – усмехнулся Проккачино. – А это не наше дело.

– Если не считать того, что эта банда хулиганов пыталась помешать двум милым девушкам пройти на мой пляж. – Шон был непреклонен.

– Ну, положим, это не твой пляж, – заметил Проккачино.

– Я дежурный охранник. Это мой пляж. И я их не пущу сюда.

Проккачино, кажется, растерялся:

– Шон правду говорит? – спросил он.

– Они назвали меня жирной лесбой, – с вызовом заявила Карли.

– Неправда, – возмутилась Деб Шеффер.

Проккачино повернулся к Шону:

– Ну, это их слово против ее. Пропусти-ка ты их всех на пляж.

Вперед выступил Эймс:

– Учтите, если нас отсюда прогонят, мой папа обо всем узнает. И вы снова вернетесь в свой ниггерский район в Стэмфорде. Это понятно?

Проккачино его понял. Отец Эймса Суита, Гордон, был авторитетным юристом на Уолл-стрит и к тому же членом городского совета. Он, по словам Арнольда, имел обыкновение без зазрения совести использовать свое служебное положение, тем более что еще и водил давнюю дружбу с губернатором-республиканцем Коннектикута. Да и мэр Олд-Гринвича был у Гордона прикормлен. А это означало, что, если его малыш Эймс пожалуется на злого дядю полицейского, последуют кары. Шон тоже понимал, какими могут быть последствия, ведь так же, как и Проккачино, он рос неподалеку, в бедном квартале по ту сторону трассы № 1, типичном бензи-

новом переулке[17] с тесными двухэтажными домишками, выходящим прямо на шумную магистраль. Обитал там рабочий люд, обслуживающий весь Олд-Гринвич и тихо ненавидевший тех, кто вроде нас поселился восточнее, за Байрем-парком, большим зеленым массивом, в который ходила курить дурь половина олд-гринвичской старшей школы и где приторговывали травой и ЛСД дилеры из стэмфордского гетто.

Все в школе знали, что Эймс Суит в доле с парнями из Стэмфорда и работает на них, сбывая наркоту своим же одноклассникам. Не сомневаюсь, что и полицейский Проккачино знал об этом не хуже нас. Знал, но был связан по рукам и ногам Гордоном и Салли Суитами, проживавшими на набережной на Мак-Кинли-драйв, одном из тех шикарных прибрежных районов, что красноречиво говорили о богатстве и статусе его обитателей.

Хотя «белый» Олд-Гринвич был глубоко консервативным местом, тем не менее дети здесь были подвержены всем тем же порокам, что и в больших городах, и даже, пожалуй, в большей степени, чем на Манхэттене, хотя бы потому, что ребятам моего возраста там всегда находилось чем заняться. В Нью-Йорке юный отморозок вроде Суита в конце концов мог и перестать искать неприятностей с законом – после того, как копы припугнули бы его до смерти, угрожая бросить

---

[17] «Бензиновый переулок» (Gasoline Alley) – комикс Фрэнка Кинга, рассказывающий о жизни маленького американского городка. В данном контексте выражение можно перевести как «воронья слободка».

на ночь в обезьянник (до появления подмоги в виде папочки с адвокатами). Здесь же, в пригороде, сопляк Эймс Суит – и та позорная сила, что стояла за ним, – мог позволить себе угрожать полицейскому, американцу итальянского происхождения из рабочей среды.

Проккачино побелел. Он разозлился, но и испугался. Я ясно видела, что он колеблется, пытаясь решить, как реагировать на столь неожиданно оказанное на него давление.

– Я могу показать вам пункт в «Руководстве для спасателей по штату Коннектикут», – сказал Шон, – который гласит: «Дежурный спасатель имеет законное право отказать любому лицу в посещении пляжа, который он контролирует, если указанные лица, по его мнению, представляют угрозу безопасности или порядку на вверенном ему пляже». У меня там на стенде есть инструкция. Это закон, и я обеспечиваю его соблюдение.

Судя по виду Проккачино, он предпочел бы сейчас оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Он повернулся к Эймсу:

– Извини, Эймс…

– Меня зовут *мистер* Суит…

– Прошу прощения, мистер Суит. Но закон есть закон, и здесь Шон принимает решения. Если он считает, что вы с друзьями должны покинуть пляж, я здесь бессилен.

– Ровно через неделю, – фыркнул Эймс, – *вас* здесь уже не будет, офицер. Да и дежурить будет другой спасатель.

Деб Шеффер сверлила взглядом меня и Карли. Она уже

раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но тут Эймс положил руку ей на запястье, помешав отпустить оскорбительное замечание, – сообразил, что полицейский может услышать и использовать против нее и всей их шайки. Потом подал знак своим, что надо заканчивать и уходить. Но когда ребята уже отошли на большое расстояние, Эймс обернулся резко, как пружина. С угрожающей, издевательской улыбкой он ткнул указательным пальцем прямо в Карли, будто прицеливаясь. Отворачиваясь, он еще успел показать нам похабный жест, прежде чем схватил за задницу Деб Шеффер. Когда они укатили на горчично-желтом «мустанге», подаренном Эймсу отцом в прошлом году, когда парня выбрали капитаном команды по лакроссу, Проккачино посмотрел на Шона:

– Ты хоть понимаешь, что сейчас натворил, сынок? – с печалью в голосе спросил он.

– Он хулиган и обидчик, – резко ответил Шон. – А я не переношу таких мерзавцев.

– У тебя дома нет пары ребятишек, которых нужно кормить, – бросил Проккачино. – Что касается вас, юные леди, то ваши родители об этом еще услышат.

Проккачино оказался абсолютно прав. В семь вечера у нас затрезвонил телефон. Я попыталась схватить трубку первой, думая, что это очередной анонимный звонок. Но мама меня опередила, и ей прямо в ухо раздался пронзительный крик Салли Суит, которая обвиняла меня в попытке втянуть ее обожаемого Эймса в проблемы с полицией, действуя сооб-

ща с этой «ужасной девчонкой Карли Коэн – явно ненормальной». К счастью, вернувшись домой, я успела обо всем рассказать маме. Когда позвонила Салли Суит, мама жестом предложила мне подняться наверх, чтобы снять трубку красного, как помидор, телефона в ее спальне и подслушивать. При всех своих закидонах мама, когда требовалось, умела дать отпор, особенно если чувствовала, что к ее детям относятся несправедливо. Вот и в тот вечер она на полную мощность включила режим «пленных не брать».

– Не понимаю, Салли, что вы хотите сказать, когда называете Карли Коэн ненормальной? – ехидно спросила мама.

– Она же явно ненавидит мужчин.

– И что заставило вас прийти к такому выводу?

– Ой, да полно вам! Вы же знаете, что она не интересуется мальчиками.

– И это, по-вашему, дает *вашему* мальчику право травить ее и мою дочь самым омерзительным образом?

– *Омерзительным? Омерзительным?!* Какое вы имеете право говорить такие вещи?

– А такое, что у вашего сына в школе и в городе репутация фантастического говнюка.

На том конце провода Салли Суит изобразила максимально драматический вдох, какой только смогла:

– Да как вы смеете…

– А как вы смеете позволять своему маленькому бандиту запугивать наших детей? И как только что посмели отпу-

стить такое замечание о чудесной Карли Коэн?

– Неудивительно, что вы так к ней относитесь.

– Вы имеете в виду, потому что мы тоже евреи?

– Этого я не говорила.

– Конечно нет. Дайте угадаю вашу следующую реплику, Салли: «Я только выполняла приказы».

Щелчок. Связь оборвалась.

Думаю, именно в такие моменты я гордилась своей матерью, потому что слышала голос стойкой и непримиримой жительницы Нью-Йорка, готовой среди окружающей нас провинциальной косности до конца отстаивать свои позиции, защищая элементарную порядочность и выступая за разнообразие, этническое и культурное.

Я позвонила Карли, чтобы узнать, как она. Ответила мне миссис Коэн. Объяснив, что через несколько минут у нее пациент и на разговор нет времени, она сообщила, что Карли зашла домой ненадолго, а потом отправилась в школьный дискуссионный клуб. Я не успела спросить, знает ли мать Карли о происшествии на пляже, она извинилась, что должна бежать, но предложила зайти к ним завтра после школы. Как только она дала отбой, я позвонила Арнольду и во всех подробностях поведала о нашей стычке с Эймсом и его дружками-антисемитами.

– Мы должны обязательно доложить об этом завтра в школе, – сказал Арнольд, имея в виду, что я должна пойти вместе с Карли к директору. – Хочешь, я могу пойти с вами и дать

правовую оценку произошедшему, если мистер О'Нил начнет утверждать, что мы чуть ли не создали Еврейский национальный фронт, угрожающий белому населению Коннектикута.

– Ладно, утром я поговорю с Карли перед уроками. Но я почти уверена, она захочет, чтобы ты пошел с нами и сыграл плохого копа.

– Этому пора положить конец.

– Мы оба знаем, что конца этому не будет, потому что это Олд-Гринвич.

Наутро мама постучала в мою дверь и тут же, распахнув ее, влетела в комнату.

– Сколько раз я просила тебя стучать? – крикнула я.

– Заткнись, – крикнула она в ответ. – Случилась беда. Карли вчера не пришла домой.

Глава третья

Это был настоящий шок. Что уж говорить о чувстве вины?! Карли пропала! Ушла из дома и не появлялась со вчерашнего вечера. Почему только я сразу не сказала миссис Коэн: «Это невозможно, не может быть, чтобы Карли отправилась в клуб после того, что случилось на пляже»? Почему не приложила столь малого усилия ради своей подруги, ведь могла же? Хотя было еще рано, только без четверти восемь, мама успела провести целое расследование и знала все детали. Оказывается, после инцидента на пляже Карли вернулась домой и пошла к себе в комнату. Ее мать разговаривала по телефону с пациенткой, а потом спешно уехала в город, где должна была встретиться с мужем: их ждали ужин и театр. Домой они вернулись около одиннадцати, Карли в ее комнате не оказалось. Ее вообще не было дома. Тогда ее отец сел за руль и поехал искать дочь. Найти ее он не смог. Миссис Коэн в это время обрывала телефон, пытаясь поговорить с родителями ребят из дискуссионного клуба, а потом она с мужем обратились в полицию. Звонили Коэны и моей маме около одиннадцати. Она подтвердила, что я весь вечер провела дома, а Карли к нам не заходила.

– Ее действительно не было дома всю ночь?

– Сегодня в шесть утра полиция нашла брошенный велосипед Карли в Байрем-парке. Она не была в дискуссионном

клубе.

– Она вернется, – дрожащим от страха голосом сказала я.

– Откуда у тебя такая уверенность? – спросила мама. – Ты знаешь, куда она могла сбежать?

– Понятия не имею, – ответила я, понимая, что если проболтаюсь и скажу правду, то доверие, оказанное мне Карли, будет подорвано навсегда, но также осознавая, что, чем дольше подруга не появится, тем труднее будет мне сохранять тайну.

– Лучше не ври, – предупредила мама.

Через две минуты подъехал Арнольд на велосипеде, избавив меня от допроса с пристрастием.

– Миссис Коэн звонила твоим родителям насчет Карли? – спросила мама.

– Конечно, – кивнул Арнольд. – Моя мама сейчас у Карли дома.

– Тогда я тоже еду. – Мама вскочила.

– Я уверен, что миссис Коэн это оценит, – сказал Арнольд со свойственной ему серьезностью, которая отлично маскировала любую иронию, намеренную или нет.

Как только мы вышли из дома, Арнольд одной рукой приобнял меня за талию.

– Если есть что-то, что мне, по-твоему, следовало бы знать… – начал он.

Я разревелась, уткнувшись лицом в его плечо:

– Если я тебе скажу… – выдавила я наконец.

– Адвокатская тайна, – усмехнулся парень. – До тех пор, пока это не противоречит процессуальным нормам закона.

– Я не твой клиент, Арнольд, – прошипела я.

Он улыбнулся мне своей характерной улыбкой судьи-всезнайки, потом нагнулся и поцеловал меня в голову:

– Ты поняла, о чем я говорю. Лучше, если я все буду знать.

С этим трудно было не согласиться. Оседлав свой велосипед, я махнула Арнольду рукой, предлагая догонять. Мы доехали до кофейни на Мэйн-стрит, которая рано открывалась и где в самом дальнем углу имелся укромный диванчик, на котором можно было поговорить, не опасаясь быть услышанными. Заказав две чашки кофе и два пончика без начинки, Арнольд дождался, пока официантка отойдет, и знаком дал понять, что теперь я могу все ему поведать. Что я и сделала. Сообщила ему все то, что мне под большим секретом рассказала Карли. Я выкладывала в подробностях абсолютно все, что знала, а Арнольд внимательно слушал, ни разу не сделав большие глаза. Когда я закончила, он с минуту, не меньше, изучал буроватую пенку на своем кофе, обдумывая мои слова и свои соображения.

– Элис, тебе надо рассказать об этом миссис Коэн, но только если Карли так и не вернется сегодня к шести часам вечера. Если она явится раньше, ты избавишь ее и кое-кого еще от возможных страданий. Интуиция мне подсказывает, что она сбежала туда… и, вероятно, там ее уговорят вернуться к родителям. Во всяком случае, логично предположить, что

Карли отправилась именно туда.

– Если все-таки придется выложить все это Коэнам, ты со мной пойдешь?

– Само собой.

– Я чувствую себя ужасно оттого, что сразу не рассказала обо всем миссис Коэн. Она всегда так хорошо ко мне относилась.

– Она такая мать, какую тебе всегда хотелось иметь?

– Я бы не стала так говорить…

– А я вот стал. Конечно, я буду с тобой рядом, если все же придется обо всем рассказать маме Карли. А пока пойдем в школу и постараемся сделать так, чтобы у этих засранцев были неприятности.

Мы сели на свои велики и покатили. Уже издали, на подъезде к олд-гринвичской старшей школе, мы увидели, что нас встречает целая комиссия: директор школы мистер О'Нил, его заместительница мисс Кливленд (высокая и худая, она всегда казалась мне осовремененной версией Эмили Дикинсон, только без стихов), незнакомый мужчина в строгом костюме и полицейский Проккачино. До сих пор мистер О'Нил и его правая рука относились ко мне весьма пренебрежительно: «дитя цветов»[18] с антивоенными настроениями, глотающая книгу за книгой – «книжная моль», как однажды презрительно прошипела мне вслед Деб Шеффер. Сегодня они обращались со мной, словно с одной из дочерей Никсо-

[18] Представитель субкультуры хиппи.

на, решившей нанести нашей школе официальный визит.

– Элис, поверь, я очень сожалею о случившемся, – сказал О'Нил.

– Мы уже слышали от офицера Проккачино, – добавила мисс Кливленд, – что ты заняла принципиальную позицию, выразив протест против оскорблений, которым подверглась бедняжка Карли.

– Есть какие-нибудь сведения об ее местонахождении? – спросил Арнольд мужчину в костюме.

– А ты кто, парень? – спросил тот.

– Он мой адвокат, – ответила я.

– Арнольду не обязательно в этом участвовать, – заявила мисс Кливленд.

– Я не буду говорить без Арнольда, – твердо сказала я.

– Между прочим, – вступил в разговор Арнольд, – я тоже подвергался издевательствам со стороны Суита, Шеффер, Фенстерштока и Бобби Куинн, ваших любимых спортсменов и их подпевал, которым вы позволяли оскорблять нас, пока это не привело к несчастью, за которое я возлагаю личную ответственность на вас и весь персонал школы.

– Это что-то из ряда вон выходящее, – пробормотал О'Нил.

– Не затыкайте парнишке рот, – сказал мужчина в костюме. Затем он полез в карман пиджака и извлек очень официального вида значок с именем: – Детектив Пол Стебингер, полиция Стэмфорда.

– Может быть, мы зайдем внутрь? – пригласила мисс Кливленд.

В кабинете директора детектив Стебингер попросил меня рассказать, что именно произошло на пляже. Я ввела его в курс дела, описав все в подробностях. Проккачино пристыженно опустил глаза, когда я упомянула, как Эймс Суит пригрозил, что нажалуется отцу, и сулил неприятности полицейскому, если тот не помешает Шону прогнать его дружков с пляжа.

– Парень правда так сказал? – обратился детектив к Проккачино. Когда полицейский кивнул, Стебингер только покачал головой, а потом повернулся к Арнольду:

– Ну, что ж, советник, раз уж ты, похоже, в курсе всего, что происходит в школе… Неужели здесь изо дня в день травят кого-нибудь из ребят?

Ответ Арнольда был четким и по делу. Он кратко обрисовал, как в школе закрывали глаза на то, что группка спортсменов и их болельщиц постоянно третировала всех, кто не соответствовал их вкусам, а в ответ на многочисленные жалобы руководители старшей олд-гринвичской школы упорно притворялись глухими.

О'Нил и Кливленд несколько раз пытались вмешаться в разговор, но детектив велел им помолчать. Слушая Арнольда, я невольно восхищалась им, его чувством справедливости и тем, что в своем рассказе он ничего не смягчал. Я-то всего-навсего пересказала то, что произошло на пляже и ка-

кими оскорблениями осыпали бедную Карли. Другое дело Арнольд – он смело бросил обвинение школьному руководству, разрушив существовавший заговор молчания. И было ясно, что от его разоблачений детектив Стебингер пребывает в тихом шоке. Я посмотрела на мисс Кливленд, когда Арнольд упомянул, что в конце прошлого семестра заходил к ней и жаловался на антисемитские выпады Фенстерштока. Замдиректора тогда отмахнулась, назвав все это обычными детскими шалостями. Сейчас в ее глазах я прочитала страх, вызванный осознанием того, что ее карьера внезапно может оказаться под угрозой. Меня же тревожило другое: Арнольд, нападая на руководство школы, рискует своим будущим – рекомендацией для колледжа. Впрочем, зная Арнольда, я была уверена: он наверняка заранее оценил риски и пришел к выводу, что ситуация сыграет ему скорее на руку. И не ошибся.

Когда Арнольд закончил, детектив Стебингер явно был под впечатлением.

– Обращусь к тебе лет через восемь, если мне потребуется юрист. Разумеется, я запишу все, что вы мне сообщили, и передам в Управление по делам образования. И боюсь, сэр, – детектив обратил свой стальной взгляд на О'Нила, – вам придется дать объяснения по многим вопросам. Как и вам, мисс Кливленд. – Женщина хотела что-то сказать, но Стебингер остановил ее: – А пока вызовите сюда Эймса Суита и Деб Шеффер. И прошу сделать это незаметно. Не под-

нимая шума.

– Их обвинят в исчезновении Карли? – спросил Арнольд.

– Это *sub judice*[19], молодой человек. Благодарю вас и мисс Бернс, вы очень помогли сегодня.

– Всегда к вашим услугам, – ответил Арнольд.

– Вы должны мне пообещать, что ни с кем не станете обсуждать всего этого… даже с вашими родителями, – сказал детектив. – А если дома к вам начнут приставать с расспросами, скажите, чтобы звонили мне.

Он дал нам обоим свои визитные карточки и жестом показал, что мы, как говорят в армии, свободны.

Выйдя из школы, мы пошли к своим велосипедам. Небо хмурилось. Садясь на велик, Арнольд заговорил:

– Не нравится мне все это.

– Теперь мне уж точно надо поговорить с миссис Коэн. Выложить ей все, что знаю… в чем Карли не смогла признаться.

– А вдруг она возьмет да и возвратится к вечеру домой? Ты будешь выглядеть как предательница. Ты хоть знаешь имя и адрес человека, у которого она могла искать прибежища?

– Только что это кто-то в городе. Карли на этот счет никогда не распространялась. Я знаю только самый минимум. Но и это все же ниточка для полиции и ее бедных родителей.

– Мы подъедем к дому миссис Коэн ровно в шесть ноль

---

[19] Sub judice (лат.) – в стадии обсуждения (юридический термин).

одну. Если твоя подруга к тому времени вернется, порадуемся и уйдем. Если она до тех пор не покажет носа, выложишь все как на духу, тем более что ты не так уж много и знаешь.

– А копы заинтересуются, почему я сразу не сказала, когда они спрашивали утром?

– Я выступлю в твою защиту. И уж поверь, не дам тебя в обиду. Утром они не задали тебе *такого* вопроса. Вот если бы спросили, а ты прибегла бы к обфускации, тогда другое дело.

Обфускация[20]. В разгар этих драматичных событий я вдруг подумала: *мой первый мальчик*, первый, с кем я переспала, бросается подобными терминами с удивительной легкостью, почти машинально. Может ли возбуждать словарный запас? Арнольд, конечно, не был атлетом – мускулистые амбалы вроде Эймса Суита никогда не казались мне привлекательными, зато меня реально волновали знания и ум. А в эту минуту секс – как способ увильнуть от реальности – был мне реально нужен.

Переплетя свои пальцы с его, я спросила:

– А у тебя же мама сегодня в городе?

Двадцать минут спустя мы занимались сексом на узенькой кровати Арнольда под плакатом с изображением Оливера Уэнделла Холмса[21]. О сексе: это была неизведанная тер-

---

[20] Обфускация (здесь) – замалчивание, сокрытие информации.

[21] Оливер Уэнделл Холмс (1841–1935) – американский юрист и правовед, многолетний член Верховного суда США.

ритория для нас обоих. Арнольд не был бы Арнольдом, если бы не исследовал эту тему самым тщательным образом после первых наших неуклюжих попыток заняться любовью. Обнаружив у родителей экземпляр «Радости секса» – этой книжкой наряду с «Я в порядке – ты в порядке» в тот год зачитывались, кажется, все мамы и папы, – Арнольд узнал всё о разных позициях, о тайнах клитора и секрете оттягивания мужского оргазма. Я была, в общем-то, благодарна Арнольду за этот ускоренный курс интимных наук. Когда мы оба набрались опыта, между нами вспыхнула настоящая страсть. При своеобразном, я бы сказала, профессорском подходе Арнольда ко всему мы достигли неплохих успехов. Никаких ласковых словечек, никаких признаний в любви между нами не было. С одной стороны, как и Арнольд, я была в таких вещах осторожна и не желала произносить вслух того, что считала неправдой. А с другой стороны, нам было по семнадцать – два подростка, нескладные в глазах окружающих, несуразные в собственных глазах, оба довольно замкнутые и изолированные, причем не только в этом городке, куда нас привезли почти детьми, но и в своих собственных заботливых семьях. Конечно, родители Арнольда отличались очень прогрессивными взглядами и поддерживали сына в учебе, поощряя его амбиции. Однако при всем том они слыли сдержанными, холодными и отстраненными людьми, оба были с головой увлечены успешными профессиональными карьерами и редко выказывали Арнольду свою любовь. В то утро,

после исчезновения Карли, мы лежали рядом на его узкой кровати, приходя в себя после секса, и Арнольд, все еще обнимая меня, сказал следующее:

– Надеюсь, родители Карли понимают, что сбежала она не от них. Я знаю, отец у нее довольно трудный человек, но, по крайней мере, они постоянно ей твердили, что любят ее.

– А тебе твои родители будто не твердят? Даже мои психованные мамочка с папочкой и то напоминают об этом время от времени.

Арнольд замолчал, избегая моего удивленного взгляда.

– У моих этого нет в лексиконе, – выдавил он наконец. – У меня такое чувство, что они со мной просто мирятся, и так будет до тех пор, пока я их не разочарую.

– Ну, а по-моему, это не так уж плохо.

– Это *так* уж плохо. – И Арнольд притянул меня к себе. А потом, сменив тему, заговорил о другом: – Надо нам и правда поискать Карли. Давай пройдем по ее обычным местам, хотя бы для очистки совести, чтобы знать, что мы сделали все, чтобы могли.

Мы доехали на велосипедах до придорожного кафе на трассе № 1, где, как я знала, Карли обычно уединялась, чтобы позаниматься или сделать запись в своем дневнике. Подруга не появлялась там два дня. Мы отправились дальше, в кегельбан, где она имела обыкновение выпускать пары, сшибая кегли. Я отвела Арнольда и в публичную библиотеку рядом с Байрем-парком, там у Карли был любимый стул в ни-

ше за секцией американской прозы – еще один из ее укромных уголков. И, конечно, мы заехали на место стычки – пляж Тоддс-Пойнт-бич. Ни один из нас всерьез не думал, что Карли прячется где-нибудь за песчаной дюной или катает шары с местными пожарными. Но, как заметил Арнольд, это давало нам иллюзию участия в поисках нашей подруги. Все это растянулось на несколько часов. К четырем мы оба вспомнили, что, безумно увлеченные поисками, до сих пор ничего не ели.

Тогда мы заехали в аптеку на Мэйн-стрит, где имелся буфет. Буфетчица, хмурая женщина с карандашом в волосах, скреплявшим пучок, ярко красила пухлые губы и непрерывно жевала резинку.

– А вы, ребятки, из олд-гринвичской старшей школы? – спросила она, приняв у нас заказ.

– Совершенно верно, – кивнул Арнольд.

– А почему ж не в школе? – удивилась женщина.

– Нас на сегодня освободили от уроков, – ответил Арнольд почти возмущенно, будто уж кого-кого, а его невозможно было заподозрить в том, что он прогуливает школу.

– Это из-за той девочки, которая пропала?

– Может быть, – уклончиво сказала я.

– Я слыхала, сегодня двоих учеников задержали по подозрению, что они что-то с ней сделали.

Мы с Арнольдом изумленно переглянулись.

– А вы не слышали, какие у полиции улики против них? –

спросил Арнольд.

– Вроде бы велосипед той девочки нашли в Байрем-парке, а двоих ребят, которых арестовали, видели там примерно в то же время, что и ее. И говорили, что у них вроде имелся на нее зуб…

Дожевав сэндвичи с горячим сыром и допив холодный чай, мы снова вскочили на велики и поспешили к миссис Коэн. Постучав, мы почти не удивились, когда дверь открыла моя мать.

– А вы что здесь делаете? – спросила она.

– Мы услышали, что в Байрем-парке нашли велосипед Карли, – сообщила я.

– И хотели поддержать миссис Коэн, – добавил Арнольд.

Мама смотрела на меня исподлобья, давая понять, что знает, что я нередко искала убежища дома у Коэнов.

– Сейчас не самый подходящий момент, – сказала она.

Но из-за ее спины раздался голос миссис Коэн:

– Впусти их, Бренда.

Мама неохотно посторонилась. Следом за ней мы прошли на кухню, где за столом сидела миссис Коэн с красными от слез глазами. Арнольд мгновенно оценил ситуацию, сейчас он был само сочувствие. Взяв стул, он сел напротив мамы Карли и накрыл ее руки ладонью:

– Миссис Коэн, я хочу, чтобы вы знали: я абсолютно убежден, что Карли вернется домой.

– Как ты можешь быть так уверен, Арнольд? – тут же по-

доспела моя мама. – Мы только что услышали от детектива, который, как я понимаю, разговаривал с вами утром, что они задержали Эймса Суита и Деб Шеффер. Их подозревают в причастности к исчезновению Карли. И Деб Шеффер вроде призналась в полиции, – продолжала мама, – что вчера вечером, примерно в полвосьмого, они столкнулись с Карли в Байрем-парке…

– Что там делала Карли? – перебила я.

Миссис Коэн пожала плечами и опустила голову:

– Дочка не рассказала мне о том, что случилось. Она провела дома два часа после того, что произошло на пляже, и даже полсловечка мне об этом не сказала. – И она снова ударилась в плач: – Что мне стоило просто поговорить с Карли, расспросить, что стряслось?!

– Но если она никак не дала знать, что что-то стряслось… – засомневался Арнольд.

– Мне позвонили как раз в тот момент, когда дочь входила, и я должна была ответить на этот чертов звонок. Это была пациентка из города, которая говорила, говорила… говорила без умолку почти полтора часа. Из-за нее мне так и не удалось взглянуть на Карли, спросить, все ли у нее в порядке. Все из-за этой безумной бабы, впавшей в депрессию после смерти пекинеса. А потом я опаздывала на поезд, меня ждал Джош, чтобы пойти в театр. Почему я не отказалась?

– Потому что Карли вам даже не намекнула, что у нее что-то случилось, – сказал Арнольд.

Миссис Коэн спрятала лицо в ладонях.

– Что случилось с Карли в парке? – спросила я у своей мамы.

– Скверные вещи, – сказала она и посмотрела на миссис Коэн, словно спрашивая, можно ли рассказывать нам обо всем.

Миссис Коэн согласно кивнула.

Мама продолжила:

– Кажется, Эймс Суит встречался там с каким-то парнем из Стэмфорда, тот снабжал его наркотиками, а он приторговывал ими в школе. Деб Шеффер тоже была там. Карли на них наткнулась. Парень из Стэмфорда тут же убежал, а Эймс схватил Карли и пригрозил, что, если она об этом кому-то проболтается, он велит своим стэмфордским дружкам изнасиловать ее и перерезать ей горло. Когда Карли стала вырываться, он заломил ей руки за спину, а Деб велел задрать ей футболку, сорвать лифчик и написать помадой на груди: «Стукачка и лесба». Деб рада стараться, она так и сделала. А потом Эймс сказал, что если завтра увидит Карли в школе, то она…

– Покойник, – перебила маму миссис Коэн. Сейчас лицо ее было жестким, а сквозь горе проступал гнев. – Вот что он сказал моей дочери, этот гаденыш…

– И Деб рассказала все это в полиции? – спросил Арнольд.

Ответила миссис Коэн:

– Детектив Стебингер сказал, что разговор был тяжелым

– в присутствии ее матери, – и он убедил Деб, что ей лучше признаться во всем откровенно, тем более что Эймсу будут предъявлены обвинения кое в каких серьезных преступлениях, а она была не просто соучастницей. Ее могут обвинить в нападении и даже в похищении. Вот тогда Деб сломалась и призналась во всем.

– Она сказала, что было с Карли потом, после их нападения? – спросила я.

– По словам Деб Шеффер, когда они Карли отпустили, она упала в траву на колени и с ней случилась истерика. А они сели на велосипеды и уехали, оставив мою дочь там, растерзанную, рыдающую. Они просто бросили ее, эти гаденыши.

Повисло молчание. Его нарушил Арнольд:

– Простите, что задаю этот вопрос, но что, по мнению детектива, было с Карли потом?

Миссис Коэн кусала губы, стараясь не расплакаться снова.

– Они не знают. На олд-гринвичском вокзале никто не видел, чтобы Карли садилась в поезд. Но время было уже позднее – возможно, она юркнула в вагон и отсиживалась в туалете до самого Центрального вокзала.

– А могла выйти на трассу №1 и куда-то укатить, – предположила я.

– Или эти маленькие чудовища врут и они сделали с Карли что-нибудь похуже, – добавила миссис Коэн.

– Но Деб Шеффер сломалась во время допроса, – сказал Арнольд. – Мне кажется, если бы они, не дай бог, сделали с

Карли нечто худшее, ей не хватило бы хитрости и изворотливости это скрыть. В том-то и причина, по которой Деб все выложила детективу Стебингеру, что она перепугалась – это дело может потянуть на преступление… и в результате у нее будут серьезные проблемы…

Мама с сомнением покачала головой:

– Я знаю, ты не желаешь это слышать, Синди, но меня тревожит мысль, не прикрывает ли Деб Шефер кого-то еще. Ну, сама посуди, зачем Карли убегать, если она знала, что вы с Джошем ее защитите?

– Но дочка никогда не рассказывала о том, что происходило в школе. Возможно, чувствовала, что мы вечно заняты.

Миссис Коэн больше не плакала. Ее голос звучал тихо и как-то странно, словно она была в глубоком шоке. Я скосила глаза на Арнольда. Медленно кивнув, он дал мне понять, что настало время рассказать то, о чем я не хотела говорить, но понимала, что выбора у меня нет.

– Карли призналась мне, что она кое в кого влюблена.

– Что? – прошептала миссис Коэн, вскочив на ноги.

Я повторила то, что только что сказала.

– Как его зовут? – вступила в разговор моя мама. – Где он живет, почему ты сразу ничего не сказала ни нам, ни полиции?

– *Она* живет в Нью-Йорке. *Ее* имени и адреса я не знаю. И само то, что это *она*… А еще я поклялась Карли, что сохраню эту тайну…

Я смолкла, испуганная яростным блеском маминых глаз. И тут вступил мой парень, мой защитник:

– В делах о пропавших без вести принято выжидать двадцать четыре часа. За это время человек может объявиться, вернуться домой. Это я посоветовал Элис ничего не говорить, пока не пройдут эти двадцать четыре часа. Что она и сделала.

– И почему ты ей такое посоветовал? – рявкнула мама.

Но я не могла допустить, чтобы мама нападала на Арнольда.

– Потому что это секрет, – рявкнула я не хуже ее. – Секрет, который мне доверила Карли. А я умею хранить секреты.

Глава четвертая

Ее звали Гретхен Форд, ей было под тридцать. Она отвечала за проверку достоверности информации в журнале «Таймс». Родом из Индианы, в Нью-Йорк она приехала, поступив в колледж при Нью-Йоркском университете, да так и осталась. Все эти детали я почерпнула из заметки в «Нью-Йорк таймс», вышедшей спустя два дня после того, как я во всем призналась миссис Коэн в присутствии своей матери. Конечно, миссис Коэн немедленно позвонила в полицию, а уже через час явился детектив Стебингер. Он, пообщавшись со мной, записал те крохи информации, которой я смогла поделиться. Заодно он велел моей маме, чтобы та перестала вести себя так, будто меня поймали на шпионаже в пользу Советского Союза.

– Вашу дочь попросили сохранять конфиденциальность, – сказал ей детектив. – Да, конечно, эти сведения могли быть полезными еще утром. Но она все равно не знает ни имени, ни адреса этой женщины…

– Ты все равно должна была рассказать, – зашипела на меня мама.

– Зачем ты так резко, Бренда? – упрекнула ее миссис Коэн. – Я согласна с детективом. Элис правильно поступила, не выдав тайну Карли. И правильно сделала, рассказав нам сейчас.

Детектив Стебингер повернулся к миссис Коэн:

– Скажите, а вы как-то догадывались о…

Он не закончил фразу, таким образом избавив себя от необходимости произносить вслух слово, которое в начале семидесятых трудно было выговорить любому.

Однако миссис Коэн не стала уходить от ответа:

– Да, я чувствовала, что у моей дочери лесбийские наклонности. Обсуждала ли я это с ней? В общем, нет… я признаю, что в глубине души не хотела ничего знать. Потом она стала почти все субботы и воскресенья проводить в городе. Мне говорила, что гуляет там с друзьями, и я предпочла принять это на веру. Хотя вопросов у меня было много… – Она опустила голову, охваченная волной горя. – Если бы я только не боялась посмотреть правде в глаза… если бы только сказала дочери: нам неважно, кто ты и какая ты.

Арнольд, желая успокоить миссис Коэн, положил руку ей на плечо:

– Карли всегда нам говорила, что мама у нее просто чудесная.

Миссис Коэн снова всхлипнула, а я заметила, как окаменело лицо моей собственной матери. Очевидно, ей нелегко было это слышать. Я-то понимала, что Арнольд чересчур вольно трактует истину, потому что частенько Карли жаловалась нам, что при всей ее внешней мягкости и доброте миссис Коэн, по сути, отсутствовала в жизни дочери. Меня всегда удивляла эта парадоксальная ситуация: мать моей по-

други была вечно занята чем угодно, только не своей дочерью, и в то же время меня она всегда привечала как дочь, которую ей хотелось иметь. Сейчас мне стало интересно: не потому ли, что я, в отличие от ее дочери, натуралка?

– Значит, Карли ни разу не упоминала, где в городе живет ее «друг»? – спросил меня детектив Стебингер.

– Даже не намекала.

– Или чем она занималась, где работала?

Я покачала головой.

– И тебе ни разу не пришло в голову спросить ее об этом? – вступила в разговор мама.

– Здесь вопросы задаю я, мэм, – отрезал детектив Стебингер.

– Но это же очевидный вопрос, – возразила мама. – И он требует ответа.

Проигнорировав ее комментарий, я повернулась к детективу:

– Карли рассказывала мне то, что сама хотела. Я не приставала и не настаивала на подробностях. Знаю только, что ее подруга старше и, по словам Карли, очень милая.

– Тогда почему она до сих пор не объявилась? – спросила мама.

– Потому что я попросила, чтобы в прессе в течение суток не объявляли об исчезновении Карли, – объяснила миссис Коэн. – На всякий случай. Вдруг она вернется?

– И мы на это согласились, – кивнул детектив Стебингер. –

До настоящего момента.

На следующее утро история Карли уже была известна повсюду. К вечеру Гретхен Форд связалась с полицией, сообщив им, что Карли Коэн действительно сбежала к ней, в ее квартиру на Манхэттене, в районе Мюррей-Хилл, после того как подверглась жестокому нападению в олд-гринвичском парке. Карли появилась у нее уже поздно вечером. Когда Гретхен предложила Карли позвонить родителям и сказать им, что она жива, та отказалась. Как признала в полиции Гретхен Форд, она совершила прискорбную ошибку, не позвонив родителям Карли и не сообщив в полицию, что девочка у нее. Однако, как Гретхен объяснила в интервью «Нью-Йорк таймс», в момент появления Карли она подумала лишь о том, что ее младшей «подруге» нужно где-то переночевать после такого потрясения. Карли умоляла разрешить ей остаться. Гретхен Форд, не дав себе труда вникнуть во все эти обстоятельства, настояла на том, чтобы Карли возвращалась домой, в Олд-Гринвич. На следующее утро она даже сама сходила на Центральный вокзал и купила Карли билет на поезд, отходящий в 9:03. Потом проводила Карли, посадила ее на поезд и убедилась, что тот уехал. Потом…

В Олд-Гринвиче Карли так и не появилась, и полиция подозревала, что она сошла с поезда на следующей же остановке, то есть на Сто двадцать пятой улице. Конечно, после «чистосердечного признания» в полиции жизнь Гретхен Форд стремительно полетела под откос. Пресса умело сформиро-

вала категоричное общественное мнение, и суд общественности решил, что молодая женщина заслуживает публичной казни. Арнольд, который теперь каждое утро покупал «Дейли ньюс» и «Нью-Йорк пост» и отслеживал, как «низколобая пресса» (как он называл эти газеты) освещает дело, регулярно оповещал меня о продолжающейся травле несчастной Гретхен. Тем же самым занималась и моя мать, которая не отрывалась от телевизора, где тоже ежедневно пригвождали Гретхен Форд к позорному столбу. Выпотрошенную, как назвал это Арнольд, за тайные гомосексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой, ее еще сильнее осыпали проклятиями за то, что она пыталась скрыть этот факт и именно поэтому не сразу позвонила родителям Карли. И лично не сопроводила ее домой в Олд-Гринвич. И конечно же все охотно смаковали гомосексуальный подтекст этого дела… Газетчики изрядно покопались в биографии Гретхен Форд и обнаружили, что девушка была изгнана из строгой баптистской семьи в Индиане за «неподобающие отношения» с молодой женщиной, которую она встретила в церкви. «Дейли ньюс» выяснила, что с Карли они познакомились в гей-баре в Вест-Виллидж четыре месяца назад – всего за десять дней до того, как Карли исполнилось восемнадцать. И все же сам факт того, что их отношения зародились, когда Карли официально было семнадцать, заставил многих с возмущением рассуждать об «изнасиловании» и «жестоком обращении с несовершеннолетней». Только «Нью-Йорк

таймс» и журнал «Нью-Йорк» честно указали на то, что Карли на момент начала романа отделяли от совершеннолетия полторы недели. Также они опубликовали свидетельства тех, кто видел Гретхен Форд и Карли вместе, все они отмечали, что обе девушки казались абсолютно счастливыми. Старшая вела себя очень заботливо и во всем поддерживала младшую подругу, измученную проблемами и чрезмерно экспансивную.

Моя мать – в своем обычном бескомпромиссном стиле – высказалась так:

– Наверняка все эти «друзья», которые расхваливают эту Гретхен на все лады, просто сами *такие же*, как Гретхен.

– Господи, мама! Ты говоришь, как папа.

– Я против лесбиянок ничего не имею. Трагедия в другом – эта Гретхен могла поступить правильно и спасти твою подругу.

– Она запаниковала, потому что поняла, что ее разоблачат, – возразила я.

– Счастье еще, что Карли не назвала тебе имя и адрес этой женщины. Иначе тебя втянули бы в эту круговерть, – вздохнула мама.

В последующие дни все закрутилось еще быстрее. На пляже в Фар Рокуэй обнаружили рюкзак Карли с ее ученическим билетом олд-гринвичской старшей школы. Бездомный мужчина, когда его допросили в полиции, показал, что накануне поздно вечером видел девушку, по описаниям похо-

жую на Карли. Она сидела на песке, плакала и, похоже, была сильно расстроена. Бродяга попытался с ней заговорить, но девушка закричала, чтобы он уходил. И мужчина отправился попрошайничать около станции метро «Фар Рокуэй». Ему удалось выпросить у кого-то доллар, он съел гамбургер в закусочной, а когда вернулся на пляж, чтобы устроиться на ночлег, то нашел сумку и куртку той девушки, оставленные внизу у кромки воды. Как рассказал бездомный репортеру «Нью-Йорк пост» – именно там мы с Арнольдом обо всем и прочитали, – он сразу же кинулся искать полицейского, предположив, что девчонка утопилась в океане. Арнольд – на то он и Арнольд – тут же позвонил в метеослужбу аэропорта имени Джона Кеннеди, который расположен рядом с Фар Рокауэй, и узнал, что температура воды в бухте Джамейка в тот день была около пятидесяти градусов, а воздуха – сорок три[22]. Потом он связался со своим дядей – врачом-гематологом из Чикаго – и узнал, долго ли человек может продержаться в такой холодной морской воде.

– Дядя Джером сказал, максимум пятнадцать минут. И учти, течение в бухте Джамейка опасное. Неудивительно, что береговая охрана до сих пор не может найти тело. Бедную Карли, наверное, унесло далеко в море.

Эта новость стала сокрушительным ударом для всего Олд-Гринвича. Миссис Коэн была слишком убита горем, чтобы

---

[22] Температура по шкале Фаренгейта, то есть, +10 и +6 по Цельсию соответственно.

общаться с журналистами. Ее муж сделал короткое заявление, в котором просил оставить их с женой в покое, и прямо обвинил руководство олд-гринвичской старшей школы в том, что они «закрывали глаза на процветающую в школе травлю, в результате которой моя дочь жила в состоянии ежедневного стресса и подвергалась грубым нападкам. После особенно жестокой выходки двух ее одноклассников она убежала из дому, и теперь мы боимся, что ее нет в живых. Это выглядит как очевидное самоубийство, которое можно было предотвратить, если бы директор и учителя олд-гринвичской старшей школы вмешались раньше».

После того как возникло подозрение, что Карли, возможно, утонула, Гретхен Форд сразу же уволили из «Таймс». Соседи по многоквартирному дому в Мюррей-Хилл, где она жила, подписали петицию, требуя ее выселения. Не дожидаясь продолжения травли, Гретхен исчезла из Нью-Йорка и скрылась в неизвестном направлении. Как и Карли, она предпочла бегство. Но в отличие от Карли, ее обнаружили два месяца спустя. В машине, припаркованной на обочине лесной дороги в Северном Мичигане. К выхлопной трубе был прикреплен шланг, а все окна заклеены изнутри клейкой лентой. Но люди, устроившие этот кошмар, сумели избежать наказания. После того как Эймс Суит провел ночь в полицейском участке Олд-Гринвича, его отец нанял ведущего нью-йоркского адвоката по уголовным делам и задействовал все свои политические связи на уровне штата, что-

бы вытащить сынка. Когда стало ясно, что в Байрем-парке не произошло убийства, отец Эймса назвал все это «оговором со стороны явно психически неуравновешенной девочки». Также я слышала, что его адвокат на пару с адвокатом Шефферов уговорили Деб Шеффер отказаться от изобличающих ее признаний. Она заявила, что в полиции на нее было оказано давление. Кроме того, Суиты добились, чтобы семьи других участников травли поведали о «провоцирующем поведении» Карли и даже о том, что она якобы приставала к двум девочкам из той компании, что было откровенной ложью. И все же школьному руководству необходимо было показать, что хоть какие-то меры приняты. Поэтому были проведены три собрания на тему «Дети, надо быть добрее». А еще уволили мисс Кливленд. Как заметила моя мать, «им нужен был козел отпущения, и конечно же решили отыграться на женщине».

Как выяснилось позже, мисс Кливленд недолго оставалась без работы, вскоре ее взяли в элитную частную школу-интернат для девочек в Массачусетсе, мама назвала это наказанием с повышением. А через несколько недель после исчезновения Карли, хотя мистер О'Нил заверял местную прессу, что в школе нет больше места подобным выходкам, Эймс Суит, проходя в коридоре мимо Арнольда, громко прошипел:

– Я слышал, жида не пустили в Йель.

Тот факт, что пару дней назад Арнольду пришел отказ из Йельского университета, в школе был широко известен –

там подобные слухи разносились со скоростью лесного пожара. Сам Арнольд был буквально раздавлен этой новостью, его родители тем более. К счастью, рядом в коридоре оказался тихий, но несгибаемый парнишка по имени Мэтт Шихан, и выходка Эймса его ошеломила. Он потащил Арнольда к мистеру О'Нилу, тот вызвал Эймса, который, изображая сочувствие, заявил, что Арнольд ослышался, а на самом деле он сказал: «Я слышал, *тебя* не *приняли* в Йель», тем самым желая выразить свое сожаление… Но Мэтт продолжал утверждать, что отчетливо слышал, как прозвучали именно эти слова – «жид» и «не пустили». Тогда О'Нил поспешно отправил Суита домой, отстранив от занятий. Когда же через три дня Суит, как ни в чем не бывало, вернулся в школу, свойственное Арнольду чувство справедливости переросло в негодование. В тот вечер он написал длинное письмо Т. М. Рейнольдсу, известному журналисту из «Нью-Йорк таймс». В письме он рассказал об исчезновении Карли после многомесячной травли и грязного нападения, о том, что главный виновник вышел сухим из воды, а его сообщница отказалась от собственных показаний. А также о том, как адвокаты, нанятые семействами Эймса и Деб, умасливали родителей других учеников, а сами в это время дергали за все ниточки, вплоть до звонков губернатору, обеляя руководство школы, и в результате все осталось без изменений: травля, издевательства и запугивания в школе продолжаются и по сей день. Между тем бедная Карли так и не най-

дена, возможно, она погибла. Арнольд заверил Рейнольдса, что найдется немало учеников, готовых открыто рассказать обо всем, что недавно произошло в олд-гринвичской старшей школе, и что родители Карли наверняка тоже захотят, чтобы эта безобразная история приобрела широкую огласку. Я и сама всем сердцем желала, чтобы чудовища, повинные во всей этой истории, заплатили сполна за то, что пустили под откос жизнь моей подруги. Ее исчезновение не давало мне покоя. Меня постоянно мучила мысль о том, что я сделала недостаточно, чтобы поддержать Карли. Не помогало и то, что Арнольд в своей суховатой юридической манере твердил мне, что моя вина «не базируется на фактах». Что бы кто ни говорил, я все равно чувствовала свою вину.

Тем временем береговая охрана продолжала искать тело на побережье Квинса и в его окрестностях. Поскольку Карли не была официально зарегистрирована как погибшая, ФБР внесло ее в список пропавших без вести. Рейнольдс, к моему большому удивлению, нанес визит в Олд-Гринвич. Это была первая из нескольких его поездок в этот северный пригород Нью-Йорка. Арнольд разговаривал с ним. Я тоже с ним беседовала. Журналист был немногословен, но очень внимателен. Заметив, что я нервничаю – еще бы, такой известный репортер, да еще надо снова вспоминать все, что я рассказывала в полиции, – он как-то сразу сумел сделать так, что я забыла о смущении, и с большой заинтересованностью стал расспрашивать о преследованиях, которым мы с дру-

зьями ежедневно подвергались в школе. Миссис Коэн согласилась встретиться с Рейнольдсом, несмотря на то что ни с кем не общалась. Моя мама также с ним говорила. Я указала журналисту на Шона и офицера Проккачино. Кроме того, он взял интервью у О'Нила и нескольких школьных учителей. В первую неделю 1972 года были опубликованы все четыре части материала-расследования Рейнольдса «Цена молчания: как систематическое замалчивание травли в Олд-Гринвиче привело к исчезновению школьницы».

Эти статьи в «Нью-Йорк таймс» стали сенсацией. Рейнольдс виртуозно владел пером и сумел с беспощадной точностью описать то, что скрывалось за благопристойным фасадом нашего городка. Особенно щемящим был момент, когда Синди Коэн показывает Рейнольдсу лучшие работы Карли – она потрясающе рисовала, – и среди них рисунок, обнаруженный ею уже после исчезновения дочери, на котором Карли в присущей ей сюрреалистической манере передала свой ужас от враждебных атак со стороны белокурых старшеклассников с голубыми глазами и идеальными зубами.

Замечательный эпизод был во второй статье – о том, как Рейнольдс провел субботу с Горди Суитом в гринвичском загородном клубе. Суит заранее разузнал, что студентом Рейнольдс играл в теннис за команду своего университета (как сказала моя мама, наверняка Горди Суит отправил своего человека в библиотеку раскопать все, что сможет, на этого типа из «Нью-Йорк таймс»). Вот он и поинтересовался, не хочет

ли тот помахать ракеткой. Оказалось, что Горди в свои сорок с гаком еще был серьезным соперником, и Рейнольдс в статье подробно описал, как тот загонял его на корте. Утвердив свое превосходство в теннисе, Горди повел журналиста обедать в клуб, и все это время он рассказывал, что его сын раскаивается в своих ошибках, но, впрочем, у полиции нет никаких доказательств того, что Эймс угрожал Карли и напал на нее (конечно же ничего, кроме показаний Деб Шеффер, от которых она впоследствии отказалась). Еще Горди сообщил, что мисс Коэн – именно так он ее называл, делая, как отметил Рейнольдс, акцент на «Коэн» и явно подчеркивая еврейское звучание фамилии, – «рано созрела и вольно обращалась со своей необычной сексуальностью», а «чужим людям, входящим в наше общество, следует хорошенько подумать, прежде чем начинать навязывать свои ценности в противовес нашим».

Историей заинтересовалась тройка крупнейших телевизионных каналов, направивших в Олд-Гринвич съемочные группы своих новостных программ. Репортеры Эй-би-си взяли интервью у детектива, занимавшегося делом Карли, который подтвердил, что Деб Шеффер признала, что вместе с Эймсом Суитом участвовала в нападении с сексуальным подтекстом на Карли. Не стал он скрывать и того, что администрация губернатора заставила полицейских отыграть назад. Но самым потрясающим было интервью миссис Коэн программе «Сегодня» на Эн-би-си. Она разрыдалась пе-

ред камерой и во всеуслышание заявила, что почти уверена в том, что ее дочь покончила с собой, доведенная до отчаяния издевательствами, а школа и правительство сговорились выставить Карли виноватой.

А еще Арнольд, которого потом цитировали в «Таймс» и который держался как юный помощник судьи, торжественно обратился к нации с телевизионных экранов:

– Никого не волновало, что бедняжку Карли Коэн преследуют и травят за то, что она еврейка и отличается от всех. Никого не волновало, что одноклассники постоянно называли меня жидом. В школе на все это смотрели сквозь пальцы. Даже после того, как девушка стала жертвой и подверглась нападению, это все равно проигнорировали…

Вот после всего этого головы покатились быстро. Был уволен О'Нил (впоследствии он стал директором школы в Огайо). Эймса Суита исключили из школы. Родители Деб Шеффер забрали ее сами, не дожидаясь исключения. Все это время поиски тела Карли продолжались, но безуспешно. Однажды миссис Коэн позвонила мне после уроков и спросила, не могу ли я заехать. Через десять минут я была у нее. Мать Карли пребывала в плачевном состоянии: под глазами залегли черные круги, рот скорбно сжат. Обняв меня, она сказала, что хочет угостить меня хорошим английским чаем с булочками и что это не просто чай, а настоящий лапсанг сушонг[23] из магазина «Фортнум и Мейсон» в Лондоне.

---

[23] Старинный сорт китайского черного чая, копченного в дыме сосновых веток.

– Карли любила мои английские чаи. А я любила дочке их готовить, но меня никогда не было дома, когда она приходила после школы…

Миссис Коэн не договорила. Голос ее задрожал, и она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать.

– Карли никогда не жаловалась на ваше отсутствие, – сказала я.

– Ты можешь мне не врать, Элис. – Миссис Коэн горько вздохнула.

Но я знала, что должна сделать именно это, потому что вспомнила, что однажды сказал мне дедушка: «Не верь ты всей этой чепухе о герл-скаутах, которые никогда не врут. Иногда ложь – это самое доброе, что мы можем дать другому человеку».

– Я не вру, миссис Коэн.

Она все-таки расплакалась, схватив меня за руку:

– Ты слишком добра ко мне. Ты ведь не веришь, что Карли правда умерла?

И я снова солгала:

– Возможно, она бросила вещи на пляже, чтобы пустить всех по ложному следу.

– Но если так, если она не могла и помыслить, чтобы вернуться в Олд-Гринвич, и решила пуститься в бега, а я все время читаю в журналах о подобных случаях, почему же она не может просто дать мне знать, что жива?

У меня не было ответа на этот вопрос. Конечно, я тоже

надеялась, что огласка и вся эта шумиха вокруг ее исчезновения все же заставят Карли выйти из своего укрытия. Но от нее до сих пор не было никаких известий.

– Язык не поворачивается это сказать, – заметил Арнольд через неделю после выхода новостей в эфир, – но Карли, вероятно, мертва. Одна открытка родителям, где бы говорилось, что она жива и читала все, что о ней написали, могла бы все изменить. И ведь это так просто. Именно поэтому я предполагаю, что Карли больше нет с нами.

Но я возражала, спорила с ним. И все потому, что я тоже боялась самого худшего, но гнала от себя эти мысли. Дело Карли не было закрыто, но олд-гринвичская старшая школа держала все в секрете. Можно только поражаться тому, что Эймс Суит, которому все практически сошло с рук, оказался не в силах сдерживать свою злобу и снова принялся испытывать пределы терпимости. Если бы не его отвратительный выпад против Арнольда, когда он обозвал его жидом, которого не пустили в Йель, Арнольд не написал бы в «Таймс», и жизнь Эймса сложилась бы иначе. Мы действительно наступаем на одни и те же грабли, да еще подставляем голову, чтобы нас посильнее ударили.

Между тем миссис Коэн и дальше приглашала меня на послеобеденный английский чай не реже двух раз в неделю. От мамы эти походы мне приходилось скрывать – я боялась, что она станет ревновать, узнав, как много времени я провожу с матерью Карли. Но отказать несчастной женщине я не могла.

Я понимала, что это каким-то странным образом помогает ей чувствовать себя ближе к Карли. Когда я рассказала Арнольду, что два-три раза в неделю провожу у нее по несколько часов, он кивнул.

– То, что ты делаешь, – *мицва*. – Арнольд использовал именно это слово на иврите, означающее «доброе дело». – Общение с тобой помогает миссис Коэн верить в то, что у нее все еще есть дочь.

Спустя три месяца после исчезновения Карли я получила письмо из Бодуин-колледжа. Оно начиналось со слов, которые я так надеялась прочесть: «Вы приняты!»

Я вздохнула с облегчением – позади вся эта нервотрепка с поступлением. Меня приняли в престижный колледж.

Тогда на собеседование я ездила с Питером, сидевшим за рулем своего «вольво» (папа как раз уехал в Южную Америку). Приехав в Брансуик и осмотревшись, мы оба решили, что кампус нам нравится. Небо в штате Мэн в тот день было темно-синим. Даже опавшая листва на газонах выглядела очень живописно – дело-то было в начале октября. Студентка, которая провела нам небольшую экскурсию перед моей встречей с одним из деканов, ведающих приемом, рассказала, что, хотя в колледже до сих пор царит консервативная атмосфера с упором на спорт, «здесь хватает и богемных, артистических типов, так что и интеллектуалы в колледже не чувствуют себя, как будто они в Сибири». Звали девушку Шелли. Ее внешний вид обнадеживал – она выглядела как

более юная версия Грейс Слик, что сильно порадовало меня – фанатку *Jefferson Airplane*. Родом Шелли была из Чикаго. Она рассказала, что отец у нее адвокат, занимается гражданским правом, и что ей, вероятно, надо было бы выбрать какое-то более оригинальное учебное заведение, например Беннингтон[24] или Антиохию[25], но отец – при всех его леволиберальных заморочках – придерживается старомодных взглядов относительно достоинств гуманитарных наук и настаивает, чтобы дочь получила надлежащее квазиклассическое образование в приличном колледже. Ее приняли в Боудин, и да, ей правда здесь понравилось. Особенно хороши преподаватели религии и философии. Она без ума от атмосферы на побережье штата Мэн и уже встретила в колледже достаточно единомышленников, в том числе ребят из небольших городков, ставших противниками провинциальных нравов.

– Приходится мириться и со студенческими братствами, и с хоккеистами, – рассказывала Шелли, пока мы гуляли по территории кампуса, – и с тем фактом, что сюда всего второй год принимают женщин. С одной стороны, это означает, что парней здесь много, есть из кого выбрать, а с другой – что мужчины в отчаянном положении. Я что хочу сказать: одна

---

[24] Беннингтонский колледж – частный колледж свободных искусств в Вермонет (США).

[25] Антиохийский университет, основан в 1852 году как Антиохийский колледж. Его первым президентом был политик, аболиционист и реформатор образования Гораций Манн. Статус университета получил в 1977 г.

девица на семерых парней… в общем, считайте сами.

В то утро на экскурсии у Шелли, кроме нас, не было никого, и я сразу заметила, что она положила глаз на Питера. Перед тем как мы попрощались, она вручила брату листочек с номером телефона своей квартиры за пределами кампуса и сказала, обращаясь к Питеру, что, если к вечеру мы еще не уедем, можем к ней заглянуть: около девяти у нее собираются друзья.

Собеседование прошло более гладко, чем я могла надеяться. Проводил его недавний выпускник колледжа. Он прочитал мои документы и задал первый вопрос: как я отношусь к тому, что колледж находится в захолустье? Я была к этому готова и ответила, что хоть в душе я всегда останусь жительницей Манхэттена, но знаю, что у меня еще будет время пожить в большом городе, а учиться я хочу в красивом и тихом месте, вдали от столичных соблазнов. Я рассказала, что фанатично люблю читать, и мой собеседник сообщил, что в Боудине традиционно очень сильная кафедра английского языка.

Когда собеседование закончилось, я увидела в комнате ожидания Питера, он заглянул мне в лицо, пытаясь понять, как все прошло. Я подняла оба больших пальца – мне хотелось получить одобрение старшего брата, ведь я знала, что он единственный в семье, кто всегда прикроет меня и никогда не предаст. Мы вышли на улицу, стоял восхитительный осенний полдень. Я рассказала брату, как прошел разговор

с тем парнем, и Питер уверенно заявил, что я пройду наверняка. Что он знал такого, чего не знала я?

– Я слышал, здесь есть неплохая закусочная, – сказал Питер. – Ну что, заглянем в забегаловку?

Закусочная называлась «Мисс Брансуик», и это было, что называется, классическое погружение. Внутри длинный прилавок, покрытый зеленым линолеумом, стулья из металлических трубок, шесть парных диванов, тот же зеленый линолеум на полу, и в каждом из шести отсеков свой музыкальный автомат. Официантка лет пятидесяти стояла за прилавком. Питер заказал нам два пива. Официантка пристально посмотрела на меня.

– Я поняла, вам нужно мое удостоверение, – сказала я.

– Ничего такого я не говорила, – буркнула женщина с еле заметным мэнским акцентом. – У нас тут два сорта пива: «Шеффер» и «Карлинг Блэк Лейбл».

– Оба паршивые, – улыбнулся Питер.

– Тогда не заказывайте.

– Два «Лейбл», – сказал он.

– Будет вам, – пробормотала официантка.

Когда она отошла, Питер снова заулыбался:

– Что мне в этом местечке нравится, так это то, насколько здесь все всерьез. Сразу за городком военно-морская база. А в каких-то десяти милях дальше по дороге *BIW*[26], где строят

---

[26] «Bath Iron Works» (BIW) – американская судостроительная верфь, расположенная на реке Кеннебек в городе Бат (штат Мэн).

все большие линкоры для военно-морского флота. Настоящий город синих воротничков[27], да еще и отличный колледж имеется. Это штат Мэн, и склад ума у людей здесь независимый. Местные могут не соглашаться с тем, как ты видишь мир, но будут защищать твое право высказываться об этом.

– В следующем ноябре мы можем получить президента из Мэна, если Эд Маски[28] сумеет победить. Но я хочу, чтобы кандидатом от демократов стал Макговерн.

– Я тоже. И я буду на него работать. Но демократический истеблишмент против него. Потому что он такой миролюбивый, прямо голубь, а Вьетнам, что ни говори, был их войной. Знаешь, что меня все время беспокоит? Что, останься Бобби Кеннеди в живых, война бы уже закончилась, а у нас был бы сейчас самый прогрессивный президент со времен Рузвельта.

– Безумная у нас страна.

– У нас великая страна с безумной и жестокой изнанкой.

Подоспело наше пиво. Официантка спросила, будем ли мы что-нибудь есть, потому что, если не закажем еду, долго нам сидеть с одним пивом не позволят. Также она упомянула вскользь, что чили сегодня чертовски удачное и они могут положить в него плавленый чеддер с резаным луком. Мы

---

[27] Синий воротничок – термин, обозначающий принадлежность работника к рабочему классу или к технической интеллигенции.

[28] Эдмунд Маски – американский политик-демократ. Избирался губернатором штата Мэн, сенатором. Занимал пост госсекретаря США и был кандидатом в вице-президенты США.

заказали два полных чили. После чего подняли свои бутылки с пивом.

– За дрянное пиво и забегаловку с чили, за то, чтобы тебя приняли в Боудин, за мир и за разоблачение тайной полиции, которая всем заправляет за нашими спинами.

Мы чокнулись бутылками, и я улыбнулась брату, радуясь, что мы вместе.

– Ты до сих пор не куришь? – спросила я Питера.

– Почти год, и это не предел.

– А папе наплевать, что я курю. Он даже научил меня, как это правильно делать.

Питер снова приветственно поднял бутылку и отпил большой глоток:

– Папа – человек с массой скрытых качеств.

– Что ты имеешь в виду?

– Говорит одно, делает другое. Выдумывает про себя всякое. Помнишь, у него на правой руке такой большой шрам?

– Ты о ранении, которое он получил на войне?

– Это не ранение, – резко бросил Питер. – У него была татуировка. Эмблема морской пехоты с надписью *Semper Fidelis*[29]. Мама отказывалась выйти за него замуж до тех пор, пока он не избавится от нее. Он свел, вот только жуткий шрам остался.

– Но он же сказал мне, что получил это на Окинаве, когда его сбила «японская зенитная артиллерия» – это точные его

---

[29] «Всегда верен долгу» (девиз морской пехоты США).

слова.

Питер покачал головой, только что не смеясь:

– Папа у нас тот еще типчик. Врет и не краснеет.

– Ты несправедлив.

– Справедливость? При чем здесь справедливость? Этот человек никогда в жизни не был справедливым. Ты одна ничего не замечаешь.

– Это потому, что он всегда был для меня хорошим отцом.

– Если бы ты только знала…

– Знала *что*? Он может не соглашаться с твоими радикальными взглядами, но…

– Надо же, я и не знал, что ты у нас такая папина девочка.

Это замечание ударило меня побольнее левого хука.

– Я своя собственная девочка, дурак, – прошипела я, схватила сигареты и вылетела на улицу.

Там я сразу же закурила «Вайсрой» и встала у стенки, щурясь от солнечного света, глядя на проезжающие легковушки и грузовики. Я изо всех сил пыталась сдержать слезы и гадала, почему же с моей семьей всегда такие сложности. Зачем Питер – самый умный из нас, самый заботливый – наговорил таких мерзостей про отца? Я несколько раз затянулась, чувствуя себя ужасно одинокой.

Минуту спустя показался Питер. Отвернувшись от него, я стала отбиваться, когда брат попытался меня обнять. Но он настоял на своем и прижал меня к себе:

– Я себя вел как говнюк. Извини.

Тогда я ткнулась Питеру в плечо, чувствуя, как напряжение – из-за собеседования, исчезновения Карли, всей этой бодяги в школе и дома – вдруг снова нахлынуло и буквально ошеломило меня. Сейчас я чувствовала себя испуганным ребенком, потерявшем голову от жестокости жизни и несправедливости людей. Не выдержав, я расплакалась.

Питер предложил мне куда-нибудь прокатиться. Где-то он читал о пляже неподалеку отсюда. По его прикидке, темнеть начнет только часа через полтора. Дорога до Попхем-бич заняла у нас полчаса – сначала мы поехали на север, к Бату, потом свернули на асфальтированную двухколейку, а по ней через небольшой мост и вглубь сельской местности.

Нам повезло: в Попхеме был отлив. Кроме пары, выгуливающей собаку, там никого не оказалось. Пляж был полностью в нашем распоряжении. Знак на воротах гласил, что мы находимся в государственном парке. Но он ничего не сообщил нам о том, какой удивительный пляж ждет нас за дюнами. Даже для такой урбанистки, как я, которая мало что знала о природе и не особенно стремилась к общению с ней, Попхем стал настоящим откровением. Несколько миль непрерывных, нетронутых цивилизацией песков. Высокие дюны. Никаких киосков с едой, сталкивающихся автомобильчиков, американских горок и прочей обычной для пляжа белиберды. Природа в своей первозданности – дикая, неистовая. Атлантический океан бьется с грохотом о песок, громовые удары звучат как литавры: бум-бум. Полчаса назад я заливалась

слезами, а тут вдруг поймала себя на том, что счастливо улыбаюсь.

– Это реально помогает, – заметил Питер.

Мы побрели по песку. Чтобы добраться до северного конца пляжа, нам потребовался без малого час ходьбы мимо летних коттеджей и пары больших обветшалых домов в стиле Новой Англии, таких же пустых, суровых и неприступных, как темнеющее небо над головой.

Долгое время мы шли молча. Первой тишину нарушила я:

– Да, Питер, ты прав. Папа – человек сложный, я знаю. Но он, мне кажется, любит меня больше, чем мама.

– Она-то точно тебя любит. На свой безумный лад, конечно.

– Но я ей не нравлюсь.

Молчание Питера говорило о многом. И он это понимал.

– Что я могу сказать? Она умная и образованная женщина, все при ней, но вот в чем проблема: она ненавидит свою жизнь и себя в этой жизни. А ты ведь ее дочь… в общем, тебе повезло принять на себя главный удар. Потому что в тебе она видит воплощение всего того, что могла бы иметь она.

– Это что, например?

– Например, возможности.

– Маме даже пятидесяти нет. У нее еще есть время.

– Да, но тут тоже проблема: мама сама себе ставит преграды. Не позволяет себе двигаться вперед. Ей бы работать, строить карьеру. Ей бы вернуться в Нью-Йорк. А что про-

изойдет после того, как в сентябре ты упорхнешь из гнезда? Она продолжит сидеть на месте и не подумает покончить со всем тем, что делает ее такой несчастной, и я не только о неудачном браке и жизни на окраине, но и жутком недовольстве собой. Вот истинная причина, по которой мама все время так злится… И почему выливает это недовольство собой на тебя.

– Точно так же, как папа выливает свое на тебя?

– И на Адама.

– Но Адамом он может управлять. А тобой не может. Поэтому все время тебя и покусывает. Тебе же до сих пор хочется нравиться отцу, правда? А его проблема вот в чем: он завидует твоей независимости и тому, что ты думаешь не так, как он. У него вся жизнь строится по определенной программе: сперва мальчик-алтарник в церкви, потом морской пехотинец, потом сотрудник американской корпорации и папочка, живущий с детками в пригороде. А ты вольный человек и живешь как хочешь. И он вроде как злится на тебя за это.

Питер вдруг встал как вкопанный и отвернулся от меня, глядя в сторону океана.

– Ты очень проницательна для своих лет, – заметил он.

Мне показалось, что брат еле сдерживает слезы. И взяла его за руку:

– Все нормально.

Питер так и стоял, отвернув от меня лицо:

– Ничего нормального.

– Тогда давай договоримся никогда не осложнять друг другу жизнь, – предложила я.

Питер кивнул несколько раз. Потом пальцами вытер глаза, наклонился и поцеловал меня в макушку:

– Согласен.

Мы пошли назад к машине. Когда добрались до нее, уже совсем стемнело. Мы вернулись в отель. К понедельнику мне нужно было написать сочинение, и оставалось еще несколько недописанных страниц. Я сказала Питеру, что мне нужен час на работу. На день рождения мама сделала мне великолепный подарок – красную, как помидор, портативную пишущую машинку «Оливетти», которая казалась мне вершиной итальянского шика. Я обожала машинку, а себя с гордостью называла самой быстрой двухпальцевой машинисткой-самоучкой на всем Восточном побережье. После хорошей прогулки, сбросив подспудно накопившееся напряжение и избавившись от стресса после нашей ссоры в закусочной, я горела желанием поработать.

У нас с Питером был один номер на двоих, и брат сразу улегся на своей кровати с книжкой. Но через несколько минут вскочил и, взглянув на часы, объявил:

– Я посмотрел, какой адрес у Шелли. Она живет на Федерал-стрит, и мы сейчас тоже на Федерал-стрит. Может, забежим к ней? Ведь еще и девяти нет.

– Ты иди. А я еще поработаю.

– У тебя был нелегкий день. Тебе точно нужен отдых.

– Да я уже почти дописала.

Питер поднялся, взял куртку. Потом подошел к столу и написал что-то карандашом на листке бумаги:

– Когда закончишь, вот адрес.

Где-то через час я, обалдевшая от напряжения, решила тоже заглянуть к Шелли. Найти дом оказалось несложно: он был в трех минутах ходьбы по той же улице. Чем ближе я подходила к номеру 263, тем громче звучала музыка – *Grateful Dead*[30]. На входной двери было четыре кнопки, но дверная ручка повернулась сама. Ах, Мэн – штат, где люди тогда еще не запирали свои двери. Поднявшись по узкой, ободранной лестнице, я вошла в небольшую гостиную с видавшей виды мебелью, книжными полками из бетонных блоков и деревянных планок и антивоенными и рок-плакатами на стенах. (На одном, самом большом, был Джим Моррисон с надписью *Американский поэт* рядом с его одурманенными глазами, но кто-то зачеркнул слово *поэт* и кое-что дописал сверху, так что теперь читалось *Американский мудак.*) Я улыбнулась. И одобрила. В комнату набилось, наверное, не меньше тридцати студентов из Боудина. В воздухе витал слабый запах травки, перемешанный с густым сигаретным дымом и резким пивным духом. В углу стояли два бочонка. Парень с хвостом разливал пенистое пиво по большим пла-

[30] Grateful Dead – американская рок-группа, основанная лидером Джерри Гарсией в 1965 году. После выступлений на фестивалях в Монтерее (1967) и в Вудстоке (1969) группа заняла значимое место в американской музыкальной сцене и контркультуре.

стиковым стаканам. Меня сразу заинтриговало то, насколько разный народ здесь собрался. Несколько завзятых хиппи и фриков курили косяки. Какие-то ребята богемного вида – черные водолазки, круглые очки, расклешенные вельветовые джинсы – курили вонючие французские сигареты. Другие были одеты подчеркнуто цивильно – рубашечки на пуговицах и кремовые джемпера под горло, – зато пили по-черному и пытались склеить каждую проходящую мимо девицу. У одного чувака были волосы под Иисуса, черная туника, мешковатые черные штаны, очень толстые темные очки и совершенно босые ноги. Он оживленно что-то обсуждал с женщиной, одетой почти точно так же, с волосами такой же длины и пурпурной помадой. Мне понравился этот странный микс: маргиналы, вундеркинды, Брэдфорды и Чипс из БАСП-кругов – кого здесь только не было! А еще мне стало страшновато: среди всех этих студентов колледжа, уже таких взрослых, я почувствовала себе совсем зеленой девчонкой. Впрочем, никто не смотрел на меня свысока. Кто-то протянул мне косяк. Я затянулась, откашлялась, поперхнувшись едким дымом, и длинный худой парень, изображавший бармена, тут же подал мне стакан пива со словами: «Выпей, помогает». Поблагодарив его кивком, я глотнула, чтобы погасить жжение в горле от марихуаны, и почувствовала себя совершенно обкуренной.

– У тебя потерянный вид.

Голос принадлежал незаметно подошедшему ко мне пар-

ню. Я решила, что он, должно быть, со второго или третьего курса. Красивый, в духе Джека Николсона. Двухдневная щетина на подбородке, в одной руке сигарета, в другой – пиво… и призывный взгляд больших глаз. Парень осмотрел меня с головы до пят. Мне почему-то показалось, что он выходец из престижной частной школы, но хочет казаться плохим парнем.

– Я ищу брата.

– И кто же твой брат, дюймовочка?

– Его зовут Питер.

– Здесь Питеров много. У тебя-то имя имеется?

Я назвала.

– Ага, а меня зовут Фил. Слушай, а пойдем в уголок, познакомимся поближе?

– Я уж лучше брата поищу.

– Потом поищем, дюймовочка.

– Перестань так меня называть.

– Тебе больше нравится «дерьмовочка»?

Я напряглась и уже была близка к тому, чтобы сорваться на этого нахала, но что-то меня остановило. «Не надо устраивать сцен, – подумала я. – Слухи могут дойти до приемной комиссии». Так что я взяла себя в руки.

– Ты видел моего брата? – просто спросила я.

– Выходит, мои чары на тебя не действуют? – Фил вдруг протянул руку и погладил меня по лицу.

Я в ужасе отскочила. Фил упрямо шагнул за мной. Я, все-

рьез занервничав, стала озираться по сторонам. И тут, откуда ни возьмись, между нами возник тот самый босоногий парень с волосами, как у Иисуса.

– Эй, Фил, охолони, голову-то не теряй, – усмехнулся он.

– Не твое дело, Креплин.

– У меня есть имя – Эван, как тебе хорошо известно. А ты нажрался в лоскуты, смотри не натвори чего-то, о чем утром пожалеешь.

Креплину удалось достучаться до этого Фила. Тот с потерянным видом вынул из кармана пачку сигарет, вытряхнул одну, прикурил и, сделав глубокую затяжку, выпустил струю дыма в сторону Креплина.

Тогда Креплин вынул сигарету у него изо рта и бросил в ему в пиво:

– В Эксетере такое, может, и проходит, а здесь нет.

– Говнюк чертов, – буркнул Фил.

– Я-то нет, – спокойно возразил Креплин. – А вот ты натуральный придурок.

Фил, казалось, готов был броситься на него с кулаками, но передумал. Видимо, небольшая часть его мозга, еще свободная от пьяной агрессии, осознала, что лучше не нарываться. Поэтому он просто выудил еще одну сигарету, зажег ее и выпустил облако дыма, теперь в мою сторону.

– Твой брат – это такой очень длинный? – спросил Фил. – Из Йеля? Зависает с Шелли?

– Да, это он.

– Он этажом выше, вторая дверь справа. Стучать не надо – там тоже куча народу.

Кивнув, я повернулась к Креплину:

– Спасибо.

– Может, в следующем году увидимся, – сказал Креплин с легкой улыбкой и вернулся к девушке, с которой болтал до этого.

Я поднялась наверх, гадая, как этот Креплин догадался, что я еще школьница. Неужели у меня такой глупый и растерянный вид? Но еще я подумала: если на будущий год попаду сюда, неплохо было бы заиметь такого друга, как Эван Креплин.

Поднявшись на этаж, я услышала *Procol Harum*[31]. В комнате на полу сидело множество людей, передающих по кругу бутылку «Джим Бим» и косяк. Рядом была ободранная дверь с граффити-надписью «Вписка Шелли». Я открыла дверь… и лучше бы этого не делала. Потому что там на кровати лежала Шелли, голая, с широко расставленными ногами, а мой брат лежал на ней, ритмично двигаясь туда-сюда. Оторопев, я застыла. В соседней комнате гремела громкая музыка, и я в надежде, что Питер ничего не заметил, закрыла дверь, но в последний миг Шелли повернула голову и увидела меня. На ее лице не было ни смущения, ни шока, она мне просто улыбнулась. Никогда мне не забыть эту улыбку.

Я бросилась вниз по лестнице. Увидев возле пивных бо-

---

[31] Procol Harum – британская рок-группа.

чонков Фила, подошла к нему:

– Ну ты и дрянь, что отправил меня туда.

Фил одарил меня злобной ухмылкой:

– Добро пожаловать в жизнь, дерьмовочка.

Преодолев искушение плеснуть пивом ему в физиономию, я сбежала.

Вернувшись в отель – сердце все еще колотилось как бешеное, – я легла на кровать и уставилась в потолок. Я думала: никого мы не знаем до конца, потому что это невозможно, даже человека, который, кажется, тебе ближе всех. Я выкурила сигарету. Потом встала и перечитала сочинение, делая исправления карандашом. Мне многое хотелось изменить. Около часа ночи я начала перепечатывать текст.

Еще примерно через час я услышала, как ключ поворачивается в замке. Пришел брат. Вид у него был такой, как будто он только что кое-как оделся и все еще находился под воздействием травки, выпивки и секса. Когда Питер вошел, я подняла голову, но тут же вернулась к своей машинке.

– Ты еще не легла? – Голос брата звучал настороженно.

– Как видишь.

– Не спится?

– Типа того.

Хотя я сидела к Питеру спиной, но чувствовала, что он стоит рядом.

– Там кто-то сказал, что ты вроде приходила, – тихо сказал Питер.

– Забегала. Тебя не видела.

– Точно?

– Наверное, я точно знаю, видела тебя или нет, – буркнула я.

– Тогда и говорить не о чем, так?

Я перестала печатать. Повернулась и посмотрела на брата. Мне хотелось кричать, вопить и сказать ему, что от того, что он сделал, мне нестерпимо больно. Вместо этого я сделала то, что всегда делала в тех случаях, когда кто-то из семьи меня разочаровывал. Я позволила Питеру сорваться с крючка.

– Абсолютно не о чем.

Глава пятая

В наступившем декабре того года все в Олд-Гринвиче ждали рождественского чуда. Даже моя мать, которая по-прежнему упорно выставляла менору в окне первого этажа и считала, что «чудеса – это сказки для тупых католиков вроде вашего папаши», призналась, что втайне молится о «чуде, которое положило бы конец общей боли». В школе – и это бросалось в глаза – об исчезновении Карли Коэн никто не забыл. Сама я то и дело принималась плакать, ночами без конца просыпалась, не в силах больше уснуть, а днем, закрыв глаза от усталости, часто видела плавающий в море труп Карли. Всякий раз, как я сталкивалась с Жестокими, они смотрели на меня со смесью страха и презрения, но ни разу больше не осмелились прошипеть мне вслед какую-нибудь гадость. Исключение Эймса Суита и поспешный перевод в другую школу Деб Шеффер вынудили эту мерзкую маленькую банду залечь на дно, тем более что новый директор, Томас Филдинг, дал понять, что не потерпит никаких инцидентов с издевательствами. Бывший морпех (что страшно понравилось моему отцу), он, однако, имел довольно прогрессивные идеи на управление школой в эпоху, которую он называл «временем в жизни американцев, когда все правила переписываются».

В начале Хануки мама с миссис Коэн ходила в синагогу и

даже вела себя вполне любезно, когда вечером мама Карли призналась, что я захожу к ней три раза в неделю.

– А тебе, конечно, и в голову не пришло рассказать мне о такой мелочи, – выговаривала мне мама через несколько часов после посещения синагоги.

– Я думала, ты рассердишься.

– За доброе дело для женщины, пережившей самую ужасную трагедию, какую только можно представить?

– Ты не ревнуешь?

– Ревную? Ты о чем?

Я ничего не ответила. В этом не было необходимости.

Мама наконец нарушила молчание:

– Я рада, что ты такая заботливая.

На Рождество Карли не объявилась. Не приехал домой и Питер, решивший провести праздничные каникулы в Либерии, где в Корпусе мира трудился его друг по колледжу. После той поездки в Бодуин мы с ним почти не поддерживали связь, хотя, когда стало известно, что я принята, от него пришла открытка с поздравлением. На ней был изображен великий комик Граучо Маркс, а на обороте Питер написал: *Я же тебе говорил! Браво! Люблю…* И его подпись.

Я не ответила. Когда Питер позвонил на Рождество из Монровии и мама передала мне трубку, я только односложно отвечала *да* и *нет* – мне хотелось, чтобы Питер понял, что я все еще обижена на него. Адам стоял рядом – на Рождество он послушно приехал домой. Когда я вернула маме трубку,

брат жестом показал, чтобы я вышла. Я набросила армейскую шинель, купленную неделю назад во время поездки в Нью-Йорк – нашла ее в большом комиссионном магазине на Салливан-стрит в Виллидже, – и прихватила пачку сигарет и зажигалку. Накануне вечером пошел снег – настоящее белое Рождество, – и я собиралась позже прогуляться по берегу моря, тем более что за рождественским обедом родители, разумеется, сцепились – а чем, спрашивается, тот год отличался от остальных? Адам только накануне вернулся из верховьев штата Нью-Йорк. Папа отметил его приезд, напившись до положения риз, а наутро страдал от сильного похмелья.

– Что там у вас с Питером?

– Ничего.

– Брось, сестренка, я же вижу.

Сестренка! Я ненавидела это слово. Считала его слащавым. Но сейчас мне показалось, что не стоит напоминать об этом Адаму.

– Сколько же пива вы с папой вчера прикончили? – спросила я.

– По шесть, не меньше. Но он настаивал, чтобы перед каждой бутылкой мы пропускали по стопке «Тулламор Дью».

– Шесть бутылок пива, шесть стопок виски… впечатляет, нечего сказать.

– Ты не ответила на мой вопрос.

– Спроси у Питера.

– Не могу. Он в Африке, а ты здесь. Так что давай расска-

зывай.

– Все нормально, – соврала я.

– Что ты скрываешь?

– Я – Бернс… и что-то скрываю? За нами такое не водится. – И увидела, что Адам побелел как мел. – Если тебе так уж нужно знать, какая кошка пробежала между нами с Питером, может, сам раскроешь мне кое-что из своих секретов?

Адам побелел еще больше и отошел от меня в сторону. Я хотела было догнать его, но подумала: он ни за что не расскажет о той страшной аварии, и я должна относиться к этому с уважением. А еще я подумала: у нас так мало общего, единственное, что нас связывает, – кровное родство. Но как можно быть такими близкими родственниками и при этом такими разными?

– У меня есть новость, – наконец заговорил Адам.

– Поделись.

– Папа нашел мне работу после того, как я окончу магистратуру в июне.

– Что за работа?

– В его компании в Чили.

– Ого, – сказала я, не зная, как к этому отнестись. – Тебя это радует?

– Ну, смогу уехать из страны – это клево. К этому времени я или женюсь на Пэтти и возьму ее собой, или…

– Может, тебе просто порвать с ней и сбежать?

Адам улыбнулся:

– Ты бы этого для меня хотела, да?

– Я бы хотела, чтобы ты жил так, как сам хочешь, а не так, как, по-твоему, от тебя ждут.

Адам немного помолчал.

– Жить как хочется, – сказал он наконец, – какая прекрасная мечта.

– Я точно буду жить так, как хочу.

– Ты сейчас так говоришь. А правда в том, что и ты наверняка запутаешься и окажешься в ловушке, как все мы…

Пока я думала, как ответить, брат продолжил:

– Давай закончим этот разговор, идет? Лучше сходим в кино, потом попьем где-нибудь пива и притворимся, будто никогда ничего такого не обсуждали. Можешь ты сделать это для меня, сестренка?

Я только молча кивнула в знак согласия. Снег все падал. По радио без конца играли какую-то дурацкую музыку. Мы оба смотрели перед собой в белую пустоту.

Решившись нарушить напряженное молчание, я спросила:

– Ты надолго домой?

– Завтра уезжаю, – ответил Адам.

– Значит, теперь нескоро увидимся.

– Да, наверное. С Рождеством!

– И тебя. Желаю…

– Не надо ничего желать, – перебил брат. – С этими пожеланиями всегда все наперекосяк.

После этого нам с Адамом много месяцев не представлялось шанса поговорить по душам.

На третий день своего пребывания в Боудине мне по дороге на занятия бросился в глаза довольно занимательный персонаж – высокий худощавый парнишка в рубашке с узором в огурцы и белых брюках, бледной, почти фарфоровой кожей и буйной шевелюрой кудрявых волос с обесцвеченными и зелеными прядями. Ногти у него были выкрашены в такой же зеленый цвет. На плече он нес книги в веревочной сумке-сетке. Проходя мимо, парнишка кивнул мне. Увидеть его было и странно, и здорово – такой сумасбродный, яркий, сразу видно столичного жителя, снизошедшего до Новой Англии с ее роскошным бабьим летом. Однако, заметив прямо перед собой трех спортивного вида крепышей, он сошел с мощеной дорожки и, опустив голову, пропустил их. Я и раньше замечала, что в Боудине существует отчетливое деление на неформалов и спортсменов.

Крупный мускулистый тип в свитере спортивного клуба колледжа (с большой буквой Б на груди) крикнул:

– Эй ты, гомик зеленый!

Остальные члены тройки подхватили:

– Где твой парень, а, зеленый?

– Не обращай внимания на этих придурков, Хоуи, – сказал какой-то парень, проходя мимо.

Но по усмешке на его лице я поняла, что одергивать ам-

балов он не собирается и выходка останется безнаказанной. Мне хотелось заступиться за парнишку. Но я еще не освоилась в кампусе, все было мне чужим, а колледж казался враждебным. Зато я, по крайней мере, узнала его имя: Хоуи.

– Кто тебе травку на голове поливает, зеленый гомик? А может, ты один из эльфов Санты?

Спортсмены хохотали все громче, радуясь собственному остроумию. Хоуи нырнул в здание студенческого клуба. Я подумала: выходит, в колледже этим хамам тоже все сходит с рук.

На пятый день учебы я слушала первую лекцию профессора Теодора Хэнкока по колониальной истории Америки и обратила внимание на то, какой он замечательный рассказчик.

Еще до приезда в Боудин мне прислали Справочник для студентов по предметам и преподавателям, выпущенный редакторами «Востока», газеты колледжа. Уже тогда курсы профессора Хэнкока по американской истории привлекли мое внимание. О нем говорилось, что «каждую лекцию он превращает в яркое событие», «никогда не бывает сухим и академичным, и в его интерпретации колониальная история воспринимается как нечто интересное, живое и очень реальное».

До этого я мало что знала об этой части нашей истории, кроме прочитанной когда-то давно «Алой буквы» Готорна да самых обычных вещей об американских первопоселенцах,

спасавшихся от религиозных преследований, которые проходят на уроках в школе. Но начиная с той первой лекции я слушала профессора Хэнкока во все уши.

Выглядел Теодор Хэнкок как типичный профессор колледжа Новой Англии. Невысокого роста, изящный, он словно был рожден для пиджака из шотландского твида, серых фланелевых рубашек, бледно-голубых сорочек и вязаных галстуков. Светло-русые волосы, разделенные аккуратным пробором, бледная кожа и очки в классической роговой оправе. Мелодичный голос, аргументированная, логичная речь. Во время той первой лекции меня сразу поразило то, как тихо и незаметно профессор полностью завладел нашим вниманием.

Талантливые учителя, как я убедилась в то сентябрьское утро в Боудине, могут в одночасье изменить наше мировоззрение. Люди часто посмеиваются над преподавателями: «Если сам не можешь что-то делать, учи других». Но правда в том, что под влиянием хорошего, талантливого педагога в людях что-то меняется. Возможно, в определенном смысле я подсознательно восприняла профессора Хэнкока как фигуру мудрого и готового научить родителя. Возникло ощущение, что он располагает истинными, взвешенными и продуманными знаниями о чем-то важном и что в последующие месяцы мы получим от него богатую пищу для размышлений – он заставит нас переосмыслить историю Америки, покажет, почему мы до сих пор противостоим огромному множе-

ству тех народов, кому пуританское мировоззрение несвойственно. По правде говоря, я мгновенно влюбилась в Хэнкока. Это удивило меня саму, потому что я никогда раньше не чувствовала такого притяжения к мужчинам старше себя. Не то чтобы я мечтала о романе с ним – нет, никаких тупых подростковых бредней. Хэнкок произвел на меня впечатление человека очень умного, вдумчивого… и в то же время не раздираемого болью или яростью, которые сжирали моего отца. Профессор держался с бостонской простотой и изяществом. В нем чувствовались доброта и уравновешенность, подчеркнутые высоким интеллектом и даром сострадания. По крайней мере, таким я представила его себе после одной лекции. Я уходила тогда из аудитории, думая: вот сильно повзрослевшая версия человека, которого я всегда мечтала полюбить. И это воодушевляло меня и то же время тревожило.

По прошествии первой недели Боудин казался мне одновременно блестящим и провинциальным. Моя соседка по комнате, Конни Лайонс из Уэлсли в штате Массачусетс, окончила очень привилегированную женскую школу, а ее мать в 1952 году участвовала в Открытом теннисном чемпионате США в парном разряде.

«Мама всегда повторяет, что, когда через два года родилась я, это стало концом ее теннисной карьеры». Это был один из немногих моментов, когда Конни разоткровенничалась со мной. Она была рыжеволосая, одевалась исключи-

тельно в стиле «Л. Л. Бин»[32]: фланелевые рубашки, походные ботинки, плиссированные клетчатые юбки. Веселая и общительная, Конни немедленно передружилась со всеми девушками на нашем этаже общежития. Ее целью было попасть в теннисную команду первокурсников и познакомиться с парнем, что и произошло дней через десять после начала учебы. Джесси Уитворт, так его звали, входил в Хи-Пси – самое привилегированное и консервативное из всех студенческих братств, – и такие девушки, как Конни, там были нарасхват. В первую неделю учебы студенческие братства колледжа, числом восемь, устроили так называемый марафон для первокурсников. Мы мотались с вечеринки на вечеринку, встречались с членами братств, очень разных, со своими особенностями, – решали, к какому берегу прибиться. Девушки были в меньшинстве и потому ценились. Даже в самом чудаковатом студенческом братстве, Зета Пси, в который входили будущие бухгалтеры высшей квалификации или профессора микроэкономики, смотрели на девушек с таким же вожделением, как золотоискатели в Клондайке на золотую жилу. Только мне их повышенное внимание не очень-то льстило. Я заглянула в Хи-Пси и Дики – суперпривилегированные братства для избранных. Не совсем мое, но в Дики я застала интересный разговор о Джоне Апдайке, который закончился тем, что парень предложил подняться к нему в комнату и

---

[32] «Л. Л. Бин» – американская компания, которая специализируется на одежде и снаряжении для отдыха на природе.

посмотреть его библиотеку американской литературы. А когда я со смехом помотала головой, ему хватило присутствия духа улыбнуться в ответ и сказать: «Все, последний раз пробую так по-дурацки склеить девушку».

Пси-Эпсилон был прибежищем богемы, прибежищем хиппи, прибежищем нариков. Войдя в их дом – зеленое здание на Мэйн-стрит, – я попала в облако марихуанного дыма. В динамиках оглушительно вопил Вэн Моррисон, а первый человек, вышедший навстречу, протянул мне косяк со словами: «Добро пожаловать на космический корабль». Звали его Кейси, и, насколько я могла судить, он был здесь главным гуру.

О Пси-Ю в последний год постоянно упоминали в новостях: это было первое студенческое братство, где президентом выбрали девушку. В заметке из «Нью-Йорк таймс», которую вырезала для меня мама, его описывали как место «божественного декаданса». Но здесь вдобавок к косяку мне плеснули вина «Альмаден», и вскоре я обнаружила, что курю сигарету, предложенную мне вежливым парнишкой по имени Марк.

– Мы альтернативное сообщество, – сказал он. – Все остальные братства тяготеют к определенному типажу. Мы принимаем всех – умных до неприличия, изгоев, которых вечно побивают камнями, лыжников-бездельников, тех, кто пьет в одиночку, реально странных, а еще выпендривающихся спортсменов и даже будущих юристов, которые любят гу-

лять на природе, по крайней мере пока.

Марк жестом подозвал стоящего поодаль парня. У того были босые ноги, свободная черная индийская одежда и волосы длиной, как у Иисуса, и мне нравилось, как он выглядит.

– Я тебя помню, – сказу сказал он мне. – Ты была у Шелли на Федерал-стрит в прошлом году, в октябре.

– Впечатляюще, – ответила я, – особенно если учесть, что мы даже не разговаривали.

– Или пугающе, – добавил Марк. – У Эвана потрясающая память.

– Я запоминаю интересных людей, – сказал Эван.

– Ты мне льстишь, – улыбнулась я.

– Нисколько. Интеллект я чую носом, как и глупость, – в колледже хватает и того и другого. Ты покер любишь?

– Нет. – Меня удивил, но и заинтересовал этот неожиданный вопрос. – Но не отказалась бы научиться.

– Обучу тебя за пару часов, – предложил Эван.

– Только учти, будешь терять деньги, – предупредил Марк. – Я в этом убедился на собственной шкуре.

– У меня не так их и много. – Я пожала плечами.

– Все равно научиться надо, – улыбнулся Эван. – А еще тебе надо присоединиться к нашему маленькому цирку, Пси-Ю. Здесь у нас интересно.

Из всех студенческих братств, которые я посетила, только здесь я сразу почувствовала себя как дома. Но я вообще не

хотела никак определяться и никуда вступать – это не по моей части. Как я быстро поняла, жизнь в колледже во многом строилась на том, к какому лагерю ты примкнешь, но хотя в Пси-Ю и гордились своей репутацией левых хиппи, наркоманов, художников, даже они при этом оставались братством. В этой системе я не могла и не хотела делать выбор.

Но Эван Креплин стал мне другом, с ним мы часто играли в пятикарточный покер. Однако наряду с этим я много общалась с Дигби Лордом – серьезным и глубокомысленным консерватором из пригорода Филадельфии (все называли его Диджеем), мечтавшим стать Максвеллом Перкинсом[33] наших дней. Студент второго курса, Диджей уже руководил «Пером», литературным журналом, издававшимся в колледже, вместе со своим ближайшим соратником Сэмом Шнайдером. Диджей был невероятным литературным снобом. Как-то я обмолвилась, что обожаю Джона Чивера, и он обсмеял меня так, будто я призналась в слабости к молочным коктейлям. Любую современную литературу, если она имела сюжет, Диджей отвергал. Сам он ратовал за тех, кого называл метапрозаиками, пишущих вопреки принципам реализма и повествовательности. О Джоне Барте, Доналде Бартелме и Томасе Пинчоне[34] он говорил с чувством, близким

---

[33] Уильям Максвелл Перкинс – американский литературный редактор, известный своим сотрудничеством с такими классиками американской литературы, как Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Томас Вулф.

[34] Джон Симмонс Барт, Доналд Бартелм, Томас Пинчон – американские писатели-постмодернисты.

к благоговению. Диджей привлек меня сразу же. Его трудно было назвать красивым в традиционном понимании, но для меня это не имело значения. Долговязый, с копной курчавых каштановых волос, он, как и я, был заядлым курильщиком. Но если я обходилась в день десятком своих любимых «Вайсрой», то Диджей выкуривал по две пачки ежедневно. Трудно было представить его без сигареты в руке, а поскольку в Боудине курить разрешалось практически везде, кроме медпункта, парень этим пользовался. Как-то, пригласив меня посидеть за сыром и вином в «Сердитом тетереве» – богемном кафе в центре Брансуика, – он поведал, что его отец, Дигби Лорд-старший, был крупным инвестиционным банкиром, а в юности серьезно занимался теннисом.

– Надо тебя познакомить с моей соседкой по комнате, – заметила я. – Она классная теннисистка, мечта любого корпоративного рекрутера.

Диджей одарил меня тончайшей саркастической улыбкой:

– С такими девицами – *приклеенная улыбка в тридцать два зуба* – я не выдерживаю больше пяти минут, а они от меня сбегают через две. Да и ты вроде с такими не особо общаешься в кампусе.

Диджей отличался какой-то особой наблюдательностью. На тот момент я еще не обзавелась в колледже ни одной подругой женского пола. Одни однокурсницы казались мне чересчур благопристойными и белокурыми, чем навевали воспоминания о кошмарах Олд-Гринвича. В других отталкива-

ло то, как они вели себя с парнями – понимая, что из-за своей малочисленности могут выбирать, кого захотят, остальных девчонки просто дразнили или держали на коротком поводке. Правда, была одна девушка с медицинского, Филиппа, еврейка из Бруклина, любительница чтения, с ней мы время от времени ходили выпить кофе. В Филиппе явственно угадывались черты битников пятидесятых – в Колумбии с Гинзбергом[35], Керуаком и прочими стилягами эпохи Эйзенхауэра она бы чувствовала себя как рыба в воде. Учебу же в Мэне – а у Филиппы была полная стипендия – она воспринимала как ссылку и установила жесткую дистанцию между собой и большинством остальных студентов. Включая меня. Впрочем, она всегда была приветлива и никогда не выказывала недовольства, если я подходила к ее столику. Мы могли поболтать о нью-йоркских артхаусных кинотеатрах и джазовых клубах и о том, почему мы обе не можем читать Толкина («Слишком много гномов», – заметила как-то Филиппа). Но всякий раз, когда я предлагала выпить по бокалу вина вечером в городе, она или должна была заниматься, или уже была приглашена кем-то, хотя я уверена, что парня у нее не было и она не спешила кого-то заводить. Филиппа производила впечатление убежденной одиночки. А во мне между тем, как я поняла намного позже, зрела потребность в близкой подру-

[35] Ирвин Аллен Гинзберг – американский журналист и поэт второй половины XX века, основатель битничества и ключевой представитель бит-поколения наряду с Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом, с которыми они вместе учились в Колумбийском университете.

ге именно женского пола, которой мне так не хватало после трагического исчезновения Карли… А оно по-прежнему не давало мне покоя: меня мучило сознание, что я могла бы это несчастье предотвратить.

Ни о чем этом я не упомянула на том первом свидании с Диджеем, зато обнаружила, что мне импонируют его ум и нетривиальные мысли на любой счет, у него хорошее чувство юмора, а в присутствии женщины он чувствует себя неуверенно. Его интеллектуальная беседа была формой флирта. Прощупав почву путем тонких расспросов, я поняла, что его опыт с женщинами довольно ограничен. Это касалось и меня, так как, если не считать Арнольда, у меня не было никакого опыта в общении с мужчинами. Мы прикончили на двоих бутылку «Либфраумильх» – вино показалось мне приторно-сладким, но это не помешало мне захмелеть, – и Диджей проводил меня до общежития. Я довольно неуклюже предложила ему подняться, объяснив, что Конни отправилась в студенческий клуб со своим теннисным гуру и вряд ли скоро вернется. Диджей согласился. Наверху мы сначала выкурили по сигарете, потом он просмотрел мою коллекцию пластинок, заметив, что мне надо начать слушать джаз, потом мы послушали последний альбом *The Band*. Диджей сидел на стуле, а я – на кровати, и я по крайней мере дважды намекнула, что он может пересесть ко мне, но он продолжал сидеть на своем месте и рассказывать о потрясающем спектакле по пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой», ко-

торый видел в Нью-Йорке, и о том, что если бы он писал пьесы, то Пинтер был бы для него образцом. Потом Диджей посмотрел на часы и, охнув, заторопился, объяснив, что завтра ему надо на лекции к первой паре.

Я взяла его за руки:

– Надеюсь, в скором будущем мы это повторим.

Он чмокнул меня в темечко и вышел, бросил на ходу: «Увидимся».

На следующий день в студенческом клубе я столкнулась с Сэмом Шнайдером. Сэм сразу произвел на меня впечатление человека, которого мало интересует флирт. Как и Диджей, он был повернут на разговорах о книгах. Мне понравилось в нем то, что в такой по преимуществу гойской среде, какая была в этом колледже в Новой Англии, он, чикагский еврей, нисколько не стеснялся говорить о своем еврействе. Поздним утром на другой день после свидания с Диджеем я, войдя в клуб, увидела сидящего на диване Сэма. Перед ним на столике стоял полный чайник чая. Еще на столе я разглядела том Блейка, три очень солидного вида научных труда и блокнот, в который Сэм что-то выписывал.

Когда я подошла, он поднял голову:

– Те же и восхитительная Элис.

– Кто же мной восхищается?

– Сама догадайся. – Сэм, чуть заметно улыбнувшись, вытащил из стопки перед собой одну из книг, вернулся к ее оглавлению и пролистал несколько страниц. – Не каждому

дано быть Дон Жуаном.

Сказав это, он снова начал строчить в своем блокноте, поглядывая в разложенную перед ними книгу. Разговор окончен.

Я поняла намек и собралась отойти к буфетной стойке за кофе и кексом. Но не успела сделать и шага, как Сэм снова заговорил:

– Мы ищем четвертого человека в редколлегию. Первокурсников раньше никогда не брали. Но для тебя готовы сделать исключение, если тебе это интересно.

– Мне интересно, – улыбнулась я.

– Тогда бери. – Сэм протянул мне большой конверт из плотной желтой бумаги. – Новые поступления, как обычно, от начинающих авторов, талантливых, способных или вовсе бесталанных. Тем не менее мы же все живем надеждой, точно? Отбери из этого две худшие работы и две, с которыми можно попытаться что-то сделать.

– Что ты имеешь в виду?

– У тебя есть вкус и интуиция. Во всяком случае, я так думаю, иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали и я не рассматривал бы тебя в качестве кандидата в редколлегию «Пера». Мне нужны короткие рецензии – несколько содержательных, умных абзацев по четырем текстам, которые ты отберешь. Хочу намекнуть, Диджей страшно бесится, когда люди не умеют писать. Я настроен менее критично, но глупость тоже не терплю. – Сэм постучал ногтем по лежащему

передо мной конверту. – Можешь начинать. Рецензии мне нужны через три дня, не позже.

И он вернулся к своим книгам.

Оглядываясь в прошлое, я поражаюсь самой себе – до чего же мне тогда хотелось произвести впечатление на Диджея и Сэма. А также на профессора Хэнкока. Я погрузилась в изучение «Пуританской дилеммы» Эдмунда Моргана, исписав целый блокнот множеством наблюдений и вопросов, а на следующий день явилась на лекцию Хэнкока и еле дождалась, когда в конце можно будет поднять руку.

– Профессор, – сказала я. – Эдмунд Морган неоднократно указывает на то, что в колониальном Массачусетсе допускалось лишение гражданства для тех лиц, которые подвергали сомнению священные основы пуританской теократии. Можно ли рассматривать это как предвестник маккартизма?

– Выскочка, – прошептал кто-то позади меня.

Шепот неожиданно прозвучал очень отчетливо. Настолько, что профессор Хэнкок тоже его расслышал и сразу посмотрел на нарушительницу порядка – девицу явно с похмелья, с темными кругами вокруг глаз, в кремовом джемпере под горло в пятнах от сигаретного пепла и еще чего-то, похожего на высохшее пиво.

– Мисс Стернс, – обратился к ней профессор Хэнкок, – не могли бы вы громче повторить упрек, сделанный шепотом в адрес мисс Бернс?

Он знал мое имя!

Мисс Стернс заерзала, явно желая провалиться сквозь пол, тем более что на нее обратились взоры всех, кто присутствовал в аудитории.

– Я ничего такого не хотела, профессор, – пролепетала она, туша сигарету в маленькой жестяной пепельнице на своем столе, и сильно закашлялась.

– Отнюдь нет, вы хотели нанести оскорбление, мисс Стернс. И я снова прошу вас: повторить то, что вы прошептали в спину мисс Бернс.

Тишина. Профессор Хэнкок кривил губы. Я чувствовала, что такие как он терпеть не могут повышать голос и всячески избегают неприятных ситуаций. Но, как я поняла сейчас, он был наделен еще и обостренным чувством порядочности.

– Мисс Стернс, мы ждем…

Девица встала с видом побитой собаки. Схватила сумку и стала пробираться к выходу. Но на полпути Хэнкок остановил ее.

– Если сейчас вы выйдете в эту дверь, – сказал он, – я буду вынужден сообщить декану о том, что вы позволили себе оскорбительное высказывание в адрес другой студентки. Выбор за вами.

Стернс остановилась как вкопанная.

– Я назвала ее лизоблюдкой, – буркнула она, стоя лицом к двери. – Извините. Всё?

– Вернитесь на свое место, пожалуйста, – велел ей Хэнкок. – Но прежде объясните нам, чем было вызвано подоб-

ное высказывание.

В ответ Стернс, шумно всхлипывая, выскочила за дверь.

Хэнкок стоял за кафедрой, олицетворяя полную безмятежность. Только когда рослый парень встал и закрыл дверь, Хэнкок заговорил снова:

– Спасибо, мистер О' Салливан. – Он смолк и обвел нас всех взглядом. – Для тех из вас, кто недавно посещает мои занятия, хочу сказать: я не потерплю никакой враждебности или словесной агрессии по отношению к любому из ваших сокурсников. А особенно к тому, кто дал себе труд вдумчиво прочитать один из заданных текстов. Вас не затруднит еще раз повторить свой вопрос, мисс Бернс?

А когда я заколебалась, мистер О'Салливан не поленился повернуться и помахать мне, давая понять, чтобы я не робела, а еще раз задала свой чертов вопрос. Так я и поступила, неуверенным голосом заговорив снова:

– Эдмунд Морган неоднократно указывает на то, что в колониальном Массачусетсе можно было лишать гражданства на основании проявленного сомнения в силе пуританской теократии. Можно ли это рассматривать как предвестник маккартизма?

– Роберт, – спросил Хэнкок, – можешь ли ты ответить на вопрос Элис?

Он и имя мое знал!

Роберт О'Салливан на мгновение задумался и ответил, что в стремлении изгнать или покарать инакомысля-

щих, несомненно, угадываются некоторые черты «охоты на ведьм» в эпоху Маккарти.

Затем Хэнкок двадцать минут рассказывал о неразрешенной загадке пуританской Америки, связанной со стремлением угодить Богу, при том что это представлялось недостижимым, ведь, согласно теологической иерархии колонии, смертный человек считался пребывающим в состоянии падшей благодати и, по сути, неисправимым грешником. Я сразу подумала о своем отце и его весьма католическом убеждении, что мы все облажались, а больше всех он сам (не то чтобы он когда-либо признавался в этом вслух, но я знала, как часто он ругал себя из-за этого). Вот и мой брат Адам тоже безропотно согласился с мыслью о том, что ему никогда не достичь высокой планки, установленной для него жизнью. Да и Питеру вечно казалось, что кто-то оценивает каждый его шаг. А мама, которая, не скрывая, высказывала свое мнение о нас… уж не пыталась ли она таким образом подавить собственное ощущение, что и она тоже неудачница в этой американской игре в жизнь?

Лекции Хэнкока поражали и радовали, казалось бы, рядовое занятие могло пробудить множество мыслей о реалиях моей собственной жизни, и оказалось, что я умею независимо мыслить – независимо от всего, что случилось в моем прошлом, как бы глубоко я ни была в этом укоренена. И что тот здоровяк, которого я, обгоняя по дороге в аудиторию, несправедливо зачислила в болваны, оказался неглу-

пым и чутким человеком.

Но случались и другие моменты. Через неделю после того, как закончилась гонка первокурсников по студенческим братствам – а я решила остаться независимой, – Эван Креплин пригласил меня в штаб-квартиру Пси-Ю на ужин. Я поднялась в его комнату – маленькую каморку под крышей, выкрашенную в черный цвет, – вместе с тремя его друзьями по братству, все крутые ребята. Всем раздали косяки. На стереосистеме Эвана играл фолк-рок, английская группа *Fairport Convention*. Разговор шел об антивоенном и антиниксоновском митинге – он должен был состояться через три дня, и мы все туда собирались – и о том, что Пси-Ю в полном составе планирует собирать по городу подписи за Макговерна, и плевать на то, что заявляет Гэллап или кто там еще проводит социальные опросы: наш кандидат все равно может прорваться в президенты. К ужину мы все спустились вниз, и двое спортсменов-лыжников, члены этого же братства, начали бросаться едой, а остальные к ним присоединились. Получив удар летающей тарелкой с консервированной фасолью, я отправилась домой, уверенная в том, что этот колледж – полный отстой, и одновременно осознавая, что он классный и дает глубокие знания. Я понимала все это так же ясно, как вскоре поняла, что у меня теперь есть союзник в лице профессора Хэнкока.

Вторая его лекция была посвящена применению публичных наказаний в колонии Массачусетс-Бэй, и Хэнкок свя-

зал ее с нашей одержимостью карательным уголовным правосудием. Не так давно Никсон объявил войну наркотикам, и Хэнкок спокойно заметил, что вся эта «война» будет заключаться в том, чтобы заполнить тюрьмы бедняками. Ближе к концу урока руку поднял Боб О'Салливан и спросил, есть ли связь между карательным характером пуританства и сходным акцентом на вину и наказание у католиков. Хэнкок ответил, что этот вопрос очень актуален, и перешел к краткому обзору янсенизма – самого мрачного движения в римско-католической церкви – и того, как он повлиял на строгий, пронизанный чувством вины католицизм, практикуемый в Ирландии.

– И в Южном Бостоне, – добавил Боб О'Салливан, рассмешив всех, включая профессора Хэнкока.

Когда мы выходили из аудитории, я подошла к Бобу:

– Мой отец родом из Бруклина. Он однажды сказал, что «Христианские братья» выбили из него всю религиозность. Но сегодня я убедилась, что его янсенистское воспитание все еще дает себя знать.

– Моего отца тоже замордовали «Христианские братья». Немудрено, что он сбежал в пожарные.

– А мой – бывший морпех, и он так и не может забыть Окинаву и своего супердисциплинированного отца, капитана ВМФ.

– Похоже, мы одного поля ягодки…

– Нет, если только, чисто случайно, у тебя мать не еврей-

ка. – Я хмыкнула.

Боб О'Салливан ехидно улыбнулся в ответ:

– Один-ноль, этот раунд ты выиграла.

– Не знала, что у нас спарринг.

– Поберегу кулаки для кого-нибудь типа Полли Стернс.

– Разве она не женский идеал для членов твоего студенческого братства?

– Для них – да, поэтому, кроме футбола и других видов спорта, да еще того, кто самая классная цыпочка в кампусе, говорить с ними не о чем.

– И все же ты входишь в Бету.

– Приспосабливаюсь по типажу. Ты вроде с первого курса?

– А ты?

– Я на третьем. Может, тебе понравилось бы иногда вместе готовиться к лекциям?

Мне понравилось, как Боб это сформулировал. Определенно, это был подкат, но облеченный в слова очень неплохо. Я внимательно посмотрела на Боба. Длинные волосы, едва намечавшаяся бородка, синяя рабочая рубашка навыпуск и синие джинсы. Вовсе не толстяк, но крупный, внушительный. Темные очки в толстой оправе тоже мне понравились, они неплохо на нем смотрелись, придавая парню ироничный вид. Понравилось и то, что он на два курса старше меня, а значит, хорошо разбирается в студенческой жизни. Но при этом Боб все-таки оставался футболистом, и для меня это

было как-то странно. Потому что, если говорить о флирте, уж кто-кто, а мускулистый спортсмен-ирландец из Саути, который тратит массу времени на общение с придурками, пришел бы мне в голову в последнюю очередь. И именно это в колледже было самым странным: приходилось на ходу пересматривать сложившиеся стереотипы о людях.

– Разумеется, можем позаниматься вместе, – ответила я, попытавшись изобразить крутую дамочку вроде тех, что мелькали в детективных фильмах 1940-х.

– Здо́рово, – обрадовался Боб и с кривой усмешечкой добавил: – На связи!

– О'кей, – кивнула я.

Не успел О'Салливан отчалить, как сзади раздался голос:

– У вас определенно появился поклонник.

Господи, Хэнкок! Я так и подпрыгнула на месте, ожидая, что сейчас буду высмеяна за интерес к спортсмену. Но увидела в глазах преподавателя лишь добродушное веселье.

– Не уверена, что это так, профессор, – отозвалась я.

– А я уверен. Одна из многих замечательных черт мистера О'Салливана – то, что внутренний мир у него весьма богатый. Несмотря на то что большую часть времени он прикидывается простаком, который умеет только бегать с мячом. – И Хэнкок передал мне сочинение, которое я сдала на прошлой неделе: – Отличное эссе. В самом деле, весьма впечатляюще. Вы не думали о том, чтобы специализироваться по истории?

– Были такие мысли…

Честно говоря, до сих пор я пребывала в полной уверенности, что меня ждет погружение в мир литературы. Но, говорю же, мои взгляды на мир постоянно менялись.

– Тогда нам надо это обсудить, – предложил профессор. – Я стараюсь не упускать таланты.

Этим комментарием он сразил меня наповал.

– Спасибо, профессор.

– Завтра я на кафедре с двух до четырех часов. Вам это удобно?

– Конечно.

– Вот и хорошо.

И, перехватив портфель в другую руку, Хэнкок зашагал прочь.

Из корпуса я вышла, чувствуя, что голова идет кругом. День явно задался. Решив, что мне необходимо отметить это чашечкой кофе, я направилась в студенческий клуб – кофе там был не такой скверный, как в других буфетах кампуса. Сама того не замечая, я шла, широко улыбаясь и помахивая сумкой. Неужели во мне разглядели что-то интересное и даже, возможно, оригинальное? Это просто не умещалось у меня в голове.

Подойдя к студенческим почтовым ящикам, я повернула ключик и вынула конверт. Внутри оказалась довольно аляповатая открытка из чилийского Вальпараисо. На ней были изображены рыбаки и девушки в костюмах крестьянок. Цве-

та были пронзительные, и все это напоминало раскрашенную афишу Кармен Миранды. Я перевернула открытку.

Сестра, я в Чили. Делаю папину грязную работу и поражаюсь, как я в это вляпался. Никому эту открытку не показывай, ничего не говори маме и уж точно не проболтайся Питеру, но то, что здесь творится… скажем так: я чувствую себя грязным.

Я убрала открытку.

Папину грязную работу?

Глава шестая

Та открытка от Адама продолжала меня мучить. Тем более что я сразу же брату ответила (*получила, прочитала… напиши подробнее…*), но от него пока не пришло больше ни слова.

Через месяц после начала семестра на родительские выходные приехали папа с мамой, мы с ними провели вдвоем час, пока мама покупала мне новые простыни и полотенца (те, которые я приобрела сама, она назвала «ужасными, противными и дешевыми»).

Как только она отбыла на нашем семейном автомобиле, я начала расспрашивать отца:

– Как дела у Адама в Сантьяго?

– Все хорошо, справляется. Я не так часто его вижу. Он по большей части трудится в Икике. Это там, где рудник, так что наш Адам в центре событий. Занимается важным делом.

– А что именно он делает?

– Финансы, ты все равно не разберешься.

– А ты попробуй, вдруг пойму?

– С каких это пор ты заинтересовалась международным финансированием горнодобывающей промышленности?

– Мне интересно, чем занимается Адам.

– Вот пусть Адам тебе и рассказывает.

– Но он далеко, в пустыне, до него пять тысяч миль. Да и

писать Адам не мастак.

– На Рождество он приедет домой. Тогда все тебе и расскажет.

– А почему ты не можешь сказать сейчас? Может, он делает для тебя какую-то грязную работу?

– *Грязную работу?* – переспросил папа презрительно, с мрачной усмешкой. – Ты ж ничего не знаешь о том, что мы там делаем, на юге.

– Но это грязный бизнес?

Папа закурил.

– Любой бизнес – грязь, – бросил он наконец и посмотрел так, что я поняла без слов, что он хочет сказать: *и больше ты от меня об этом ни слова не услышишь*.

Позже в тот же день мы остались наедине с мамой, и я поинтересовалась уже у нее, все ли в порядке у Адама. Она стрельнула в меня взглядом:

– Тебе известно что-то, чего не знаю я?

– Просто интересно, как там у него дела.

– Мой сын звонит мне раз в десять дней и каждый раз говорит, что все у него прекрасно. А вот ты от меня что-то скрываешь.

– Мам…

– Не мамкай. Скажи мне правду.

Очередная проблема с моей матерью заключалась в том, что от нее невозможно было что-то скрыть – что-то заподозрив, она превращалась в агента ФБР и не отступалась до тех

пор, пока не вытянет из тебя всю информацию. Потому я так мало с ней и откровенничала – даже малейший намек на то, что я что-то знаю, вот как сейчас, выливался в допрос третьей степени.

– Если ты не скажешь мне, что знаешь про Адама, я пожалуюсь твоему отцу.

– А если нажалуешься, вы снова поцапаетесь и еще больше попортите крови себе и нам всем. Но если ты так хочешь, мама, давай. А то уик-энд что-то очень уж мирно проходит. За весь день ни одной ссоры – прямо-таки рекорд для нашей семьи.

Может, ради разнообразия, но мама меня послушала. Однако на следующее утро, когда родители уезжали, она обняла меня и прошипела на ухо:

– Я этого так не оставлю, разберусь во всем.

Больше мама со мной об этом никогда не заговаривала. Адам так и не ответил на мою открытку. В воскресенье вечером – я каждую неделю созванивалась с родителями – мама не проронила ни слова на эту тему, хотя на этот раз я в лоб спросила ее, чем занимается мой брат в Чили. Она ушла от ответа, начав спрашивать, почему мы поссорились с Питером – ей-де кажется, что мы не разговариваем. От этого вопроса увильнула уже я, уверив, что у нас все хорошо и мы снова общаемся. Я поняла тогда, что с нашей семейкой надо держать ухо востро, а уклонение от правды необходимо просто для того, чтобы выжить. На самом деле Питер напи-

сал мне письмо, в котором просил прощения. Он говорил, что жалеет о том, что случилось, и очень по мне скучает. Это меня порадовало. Я отправила ему открытку с иллюстрацией к «Алой букве» Готорна. Текст был простой: *со временем у меня это пройдет, но дай мне это время*. Так что, строго говоря, я сказала правду: мы действительно общались.

Тем же вечером, лежа рядом с Бобом, я рассказала ему о том, как мы с Питером приезжали в Боудин. Когда стало ясно, что я не разговариваю с Питером из-за того, что он переспал с Шелли, Боб высказал свое суждение:

– Если хочешь, вот мои два цента на эту тему: твой брат действовал как типичный мужик. С ним заигрывала симпатичная девушка. Он не стал отказываться. Да, не слишком приятно, что этой девушкой оказалась та, которая познакомила тебя с колледжем, но она же пригласила его к себе на хату. Он и пошел. Сучка не захочет – кобелек не вскочит.

– Это грубо.

– Гм… это во мне говорят мои неандертальские корни. Тебе пора перестать злиться на брата.

– Не знаю, пройдет ли эта злость когда-нибудь.

– Мы можем над этим поработать вместе, – сказал Боб, пробежав пальцами по моей голой спине, потом наклонился и поцеловал меня в шею, что всегда меня возбуждало.

В один миг я оказалась сверху, поражаясь той легкости, с которой двигались вместе наши тела, как синхронно нарастала в нас страсть. Боб оказался пылким и изобретательным

любовником. В первую нашу ночь он сделал нечто, выходившее за рамки книжных инструкций Арнольда: он довел меня до исступления.

То, что теперь мы были вместе с Бобом, не обошлось без осложнений. С самого начала наших отношений я ясно дала понять, что ни под каким видом не собираюсь участвовать в попойках, которые спортсмены устраивали в братстве Бета-Тета-Пи. Мы встречались в моей комнате, так как моя соседка по комнате, к счастью, почти все ночи проводила в общежитии своего парня. О нашей связи мы помалкивали. Это было наше общее решение. Я не хотела афишировать, с кем сплю. Боб со своей стороны понимал, что «на него выльют хренову тучу дерьма, если дружки по братству узнают, что он встречается с *башковитой*». Но как-то Диджей – мы по устоявшейся традиции обсуждали с ним достоинства коротких рассказов за бутылкой красного вина в «Сердитом тетереве» – намекнул, что все знает обо мне и «футболисте».

– Не понимаю, о чем ты говоришь.

Я попыталась скрыть смущение, но мне это плохо удалось. На губах парня заиграла улыбочка, и эта улыбочка мне не понравилась.

– Конечно же не понимаешь, – отозвался Диджей. – Потому что, могу поспорить, вы с этим пеньком все старательно скрываете.

– Он не пенек, – вспыхнула я, неожиданно разозлившись.

– Поздравляю, ты выдала себя с головой, – фыркнул Ди-

джей.

Когда я пересказала этот разговор Бобу, убежденная в том, что если знает Диджей, то скоро узнают все, он ничуть не озаботился:

– В Бета-братстве никто ничего не знает, потому что иначе, уж поверь, заклевали бы без жалости. И не переживай ты так. Мой папаша говорит, что за гонором легко скрыть неуверенность. Поэтому выше нос, и плевать тебе на всех спортсменов и чирлидерш в мире. Да и на интеллектуалов, которые считают, что ты обязана дружить только с ними. Все они существуют только для того, чтобы напоминать тебе: ты лучше большинства людей в этом мире, потому что не боишься быть непохожей и умной.

Слушая Боба, я сама не заметила, как обняла его. А когда он закончил, долго страстно целовала, прежде чем заговорить:

– Ты, может, первый человек, который меня всерьез зацепил, и я чувствую, что влюбляюсь. Влюбляюсь без памяти. И от этого мне легко, и я чувствую себя счастливой – это приятный сюрприз, потому что до сих пор мне совсем не часто приходилось быть счастливой. Но одновременно все это меня очень тревожит.

– Потому что…

– Потому что я боюсь всерьез влюбиться в тебя, и потому что мы такие разные внешне – пусть даже вместе мы нереально круты, – и потому что мне нравится заниматься с то-

бой любовью, и потому что от всего этого вместе мне очень-очень страшно, потому что…

Боб наклонился и взял мое лицо в руки:

– Эй, и я в тебя влюблен. И считаю, что это очень клево. Так не пора ли нам завязать со всей этой конспирацией и вместе появиться в колледже?

Я была ошеломлена. А еще мне понравилось то, что Боб не боялся быть со мной откровенным – позже в ту ночь он рассказал, что всегда считал себя «пентюхом из Саути», что его мать Айрин всегда на взводе и периодически впадает в тяжелое состояние, может целый день пролежать в постели, не есть и не пить – тогда, в 1972 году, никто еще не называл это депрессией, – словом, что она уже много лет не в себе.

– Зато с отцом мне повезло, – рассказывал Боб, – хотя он, конечно, сильно огорчился, что я не получил полную футбольную стипендию в Бостонском колледже, где заправляют иезуиты. Их команда подпитывает игроками из НФЛ. В Бостонском колледже звездой стать легко, к двадцати двум годам можно сделаться профессионалом. Одного папа не знал – что я не хочу становиться профи. Боудин я выбрал не только из-за полной стипендии, а еще и потому, что уровень образования здесь высокий. Папаша пока не знает, но я через год собираюсь поступать в аспирантуру. Хочу писать диссер по английской литературе. Хочу быть профессором, преподом.

– Так это же здорово!

– Он будет мной гордиться, если я продолжу хорошо учиться и получу полную стипендию в Лиге плюща. Но не преминет позудеть на тему о том, что я всю жизнь буду жить на нищенское жалованье и что с моими оценками в Боудине, да притом еще и спортсмену, разумнее идти на юридический. Есть такое устоявшееся мнение, что мы все должны стать юристами – в Америке это лучшая гарантия благополучной жизни. Но стоит только представить, как через восемь лет я рву себе задницу, чтобы сдать экзамен на адвоката в Массачусетсе, так я сразу думаю: меньше всего в жизни я хотел бы такой жизни.

– Тогда не поддавайся. Становись профессором. На чем бы ты специализировался?

– Моя мечта – учиться у Гарольда Блума[36] в Йельском университете… хоть и понимаю, что в итоге не избежать мне стать докой по части Чарльза Диккенса и викторианскому роману. Если так и будет, папа будет не так сильно разочарован.

После того вечера мы с Бобом отважились показаться в колледже вместе. В небольшом местечке вроде Боудина слухи распространяются со скоростью света. Хотя на публике мы держались пока довольно сдержанно, но таиться перестали. И народ начал это замечать. Как-то на собрании в редакции Сэм осведомился, не собираюсь ли я – первая из чле-

---

[36] Гарольд Блум (1930–2019) – известный американский историк и теоретик культуры, литературный критик и литературовед, библеист, религиовед.

нов редколлегии «Пера» – попробовать свои силы еще и в чирлидинге? Сказано это было шутливо и с мягкой улыбкой, отчасти смягчившей резкость комментария, не говоря уже о подтексте – Сэм явно огорчился за Диджея, из-под носа у которого меня «увели» (кстати, всю жизнь терпеть не могла это выражение).

Когда мы с Бобом зашли в аудиторию на лекцию профессора Хэнкока, Полли Стернс, закатив глаза, шепнула:

– Привет попугайчикам-неразлучникам.

Даже сам Хэнкок, когда я пришла к нему на консультацию, ясно дал понять, что все знает о моем романе с футболистом.

– Хотите, расскажу вам историю из своего прошлого, – предложил он в один прекрасный день, когда мы сидели у него в кабинете. – За год до поступления в докторантуру я летом посещал курс англо-ирландской литературы в дублинском Тринити-колледже, очень рекомендую вам рассмотреть его, когда будете на третьем курсе и речь пойдет о практике за границей. Те два месяца в Дублине стали для меня чем-то вроде приятной интерлюдии, шансом почитать Джойса *in situ*. Дублин оказался серым, дождливым, мрачным и совершенно чудесным городом, у меня то и дело возникало чувство, что я попал в какое-то очень доступное для понимания и в то же время абсолютно чужое место. В числе прочего я понял про Дублин одну штуку – там все друг про друга знают всё, вплоть до того, кто что ел на завтрак. В Боудине то же

самое, только он еще меньше. Так что до меня дошли слухи, что вы встречаетесь с мистером О'Салливаном.

На это я могу сказать только одно: вам обоим повезло, что вы нашли друг друга.

С этого момента мои отношения с профессором Хэнкоком стали более дружескими. Я почувствовала, что доверяю ему и смогу открыться в случае необходимости. Большую часть времени мы обсуждали вопросы, связанные с учебой. Но мало-помалу он начал расспрашивать меня о родителях, братьях, о том, как я воспринимаю мир – все это коловращение жизненных обстоятельств. Он и сам охотно говорил со мной о себе. Например, о своей любви к фортепьянным регтаймам Скотта Джоплина[37], о том, как познакомился со своей женой, в девичестве Марианн Кэбот – девушкой из аристократической семьи, входившей в элиту Бостона, – и о том, как они поженились сразу после окончания университета. У них было трое сыновей – Тео-младший, Сэмюэл и Томас, – все младше десяти лет. Он рассказал о своей парусной лодке – тридцатишестифутовом яле, на котором он проводил почти все выходные, занимаясь рыбалкой у берегов штата Мэн. Было ясно, что Хэнкок рос в мире тихих, не заявляющих о себе громко привилегий, и меня поразила легкость, с которой мой преподаватель вносил личную нотку в наше общение. При этом Хэнкок всегда держался со мной подчеркнуто

---

[37] Скотт Джоплин (1868–1917) – афроамериканский композитор и пианист, автор сорока четырех регтаймов.

корректно. Хотя меня он называл по имени, он никогда не предлагал мне называть его Теодором. Для меня он всегда оставался «профессором».

Из его обмолвок я поняла, что у Хэнкока проблемы со сном, что часто он встает около четырех утра, после каких-то пяти часов сна, и садится проверять студенческие работы, готовится к дневным лекциям или просто слушает музыку. Он сказал, что я непременно должна послушать поздние струнные квартеты Бетховена, и рекомендовал купить записи «Амадеус-квартета». А еще он рьяно восхвалял достоинства бомбейского джина, рассказав мне, что выпивает в день один бокал очень сухого мартини, и всегда именно с этим, очень английским джином. Я и в самом деле взяла в фонотеке музыкального факультета записи поздних бетховенских квартетов в исполнении «Амадеуса». Эта задумчивая, тревожная музыка показалась мне прекрасной. Увы, соседка по комнате в тех редких случаях, когда возвращалась в нашу спальню, всегда просила «вырубить этот мрачный кошмар».

Мне невероятно льстило спокойное доверие Хэнкока. Почему? Считала ли я его первым взрослым, который отнесся ко мне почти как к ровне? Или вспоминалась мимолетная влюбленность в начале семестра? На этом этапе жизни разница в пятнадцать лет казалась мне непреодолимо огромной. У меня был парень, и Хэнкок его одобрял. Наши же отношения были строго дружескими, к тому же Хэнкок ничем не напоминал мерзавца с кафедры английского языка, Герба

Курсена, который славился тем, что постоянно приставал к студенткам и мстил, если ему отказывали, а администрация смотрела сквозь пальцы на его донжуанские замашки. В отличие от него Хэнкок был безупречным джентльменом, что не могло не делать его еще более привлекательным. Думала ли я когда-нибудь о сексе с ним? Да, думала, и это мучило и тревожило меня. Но в отличие от некоторых студенток колледжа, которые открыто заводили интрижки с преподавателями, я знала, что никогда не перейду эту черту. Хэнкок не допускал ничего двусмысленного – вроде легких прикосновений к руке или небрежного приглашения выпить по бокалу вина вечерком после занятий, – что бы указало на какой-то его особый интерес помимо покровительственного отношения преподавателя. Тем не менее я чувствовала, что и он ощущает некое скрытое притяжение, существующее между нами, но углубляться в изучение его мы не собирались, а, наоборот, всеми силами этого избегали.

– Что вы собираетесь делать в ночь выборов? – спросил меня профессор Хэнкок накануне голосования.

До этого я целую неделю вместе с Эваном Креплином обходила дома в Брансуике, раздавая листовки «Макговерна в президенты» и призывая сознательных граждан штата Мэн голосовать за этого редкого человека, уважаемого, высоконравственного политика, к тому же единственного, кто твердо обещал положить конец нашему чудовищному безумию во Вьетнаме.

Все прошло не вполне так, как мы планировали. Не считая людей, так или иначе имеющих отношение к колледжу, нескольких образованных пенсионеров и горстки хиппи, подавляющее большинство местных жителей было либо военными, издавна связанными с базой военно-морской авиации, либо просто коренными жителями штата Мэн, которым не по душе были такие яркие личности, как Эван. Я вряд ли могла нейтрализовать впечатление от экстравагантного облика Эвана, потому что и сама повесила на шею свой деревянный символ мира, нацепленный на нитку вместе с крупными бусинами психоделических цветов. Мы не осознавали, что наш вызывающий вид едва ли способен укрепить веру в «миролюбивого кандидата» Макговерна. «Его поддерживают одни радикалы, бродяги и бездельники», – пылко заявила нам одна сморщенная, как печеное яблоко, старушка, чья злоба ошеломила нас с Эваном. И все же мы оба были уверены, что если постараемся быть убедительными, то, несмотря на общественный настрой, заимеем шанс переломить ход событий и включить штат Мэн в список коллегии выборщиков Макговерна.

Эта сварливая старуха захлопнула у нас перед носом дверь, закончив свою тираду поистине изощренным выпадом:

– И вот еще что, юноша, лет десять назад в Боудин принимали только приличных молодых людей, а уродов вроде вас просто выгнали бы из города.

Только после этих слов я начала понимать, чего нам будет стоить протащить кандидатуру Макговерна…

– Пока не знаю, – проговорила я. – Наверное, натяну на голову простыню и откажусь вставать, если все кончится так, как все думают.

– Проблема в том, Элис, – вздохнул Хэнкок, – что Макговерн, при всех его высоких моральных качествах, неподкупности и интеллекте, не может быть избран. Никсон коварен и одержим многими комплексами. Но он реальный политик, и его прагматизм я одобряю. Он действует эффективно, и он не такой правый, как Рейган и Голдуотер.

Хэнкок поддерживал Никсона! Меня это насторожило. Но Боб, когда я рассказала ему о нашем разговоре, не удивился:

– Хэнкок – выходец из потомственной финансовой элиты. Из тех, кого мой отец всегда считал правящим классом Новой Англии. Он, конечно, считает себя настоящим либералом, но никуда не денешься – представителем истеблишмента он быть не перестает. А Макговерн, на его вкус, слишком сильно настроен против истеблишмента. Вот что пытался сказать тебе Хэнкок: я зажму нос и проголосую за Никсона, хотя мне самому противно.

Для участия в выборах я зарегистрировалась в Мэне и сбегала в местную среднюю школу, где отметила в избирательных бюллетенях Макговерна и остальных демократов, назначенных на государственные и национальные должно-

сти. К восьми вечера в студенческом клубе у единственного старого телевизора собралась толпа. Все слушали репортаж Уолтера Кронкайта. По его словам, хотя избирательные участки еще не закрылись, Никсон уже набрал достаточно для переизбрания на второй срок в качестве 37-го президента Соединенных Штатов.

– Ну, мой отец, наверное, празднует – этот повод тянет на три мартини, не меньше, – сказала я Бобу.

– А мой папаша за победу Никсона зальет зенки «Шлитцем»[38]. Это триумф молчаливого большинства, которое искренне верит в то, что мы страна, избранная Богом, а любой, кто думает иначе, не настоящий американец.

И тут за спиной Боба раздался голос – судя по всему, консерватора, и определенно сильно нетрезвого:

– Репетируешь речь в раздевалке в эту субботу перед тем, как вам, ребята, снова надерут задницы?

Обернувшись, Боб обнаружил перед собой высокого костлявого парня с непромытыми светлыми волосами. Брюки чинос, красная водолазка, твидовый пиджачок и круглый значок *Никсон/Агню'72* на лацкане. Я узнала его сразу: Блэр Баттерворт Прескотт – так его и звали, всеми тремя именами сразу, – серьезный игрок в лакросс и член Хи-Пси.

– В субботу мы планируем обыграть Колби, Блэр, – отозвался Боб с натянутой улыбкой. – А что касается речи… нет, я не собираюсь использовать раздевалку, как это дела-

---

[38] «Шлитц» («Schlitz») – марка пива.

ет президент боудинского отделения «Молодых американцев за свободу». Это ты толкаешь там речи, пропихивая свои республиканские идеи.

– Сказал Пэдди[39] из Саути.

Вокруг нас вдруг стало очень тихо. Я видела, что Боба трясет от гнева. Если бы после этой реплики он решил размазать по стенке Блэра Баттерворта Прескотта, ирландско-еврейская девчонка во мне зааплодировала бы. Но я знала, что Прескотт имеет репутацию провокатора и гордится тем, что может вывести из себя любого, если только захочет. Роберт О'Салливан это тоже понял. Тем более что все, кто оказался рядом, замерли, ожидая реакции Боба.

Я буквально чувствовала, что Боб считает про себя до десяти. Он сделал глубокий вдох, успокаиваясь, и неторопливо повернулся к Прескотту:

– Разница между мной и тобой, Прескотт, в том, что я попал сюда по своим личным заслугам, а не из-за папочки.

Прескотта это замечание явно покоробило, тем более что он не мог не услышать приглушенные смешки. Смех доносился со стороны древнего телевизора с похожей на кроличьи уши антенной. Студенты, сгрудившиеся вокруг него, как раз собрались включить местную программу Си-би-эс.

– Жалкий неудачник! – Прескотт наконец придумал, что ответить.

На эти слова обернулась девчонка-хиппи:

---

[39] Пэдди – презрительная кличка ирландцев.

– Знаешь, чувак, сегодня мы все неудачники, все проиграли. Потому что эти выборы подтверждают: мы настолько пропащая страна, что дали еще четыре года такому скользкому уроду, как Никсон.

Все взорвались аплодисментами, раздались выкрики: «Точно!»

Прескотт бросился прочь, а я подтолкнула Боба:

– Пойдем выпьем.

Дойдя до бара в центре города, мы разорились на «Микелоб» – в то время самое высококлассное американское пиво.

Наполовину осушив свою бутылку, я решилась заговорить на тему, которую хотела обсудить уже некоторое время:

– Я не собираюсь учить тебя жизни, указывать, с кем тебе общаться и что делать. Но сделай это для себя: сними квартиру в городе и уйди из общаги, подальше от этих веселых ребят. Рано или поздно они до тебя докопаются.

– Нет, если я им не позволю.

– Проблема вот в чем: ментальность студенческого братства – это ментальность стада. Все будут смотреть, как творится дерьмо, и никто не вмешается, а с тобой могут расправиться. Ты не помнишь разве, как в прошлом году парень упал с крыши вашего братства?

– Помню, – сказал Боб. – Мы с ним дружили. Брэдли Мамфорд. Тебе бы он понравился. Пловец. Немного болтун, воображала, чертовски умный. Настоящий гений в том, что касается темных сторон экономики. И у него был фантастиче-

ский гребок в баттерфляе. Настолько фантастический, что тренер всерьез собирался готовить его к Олимпийским играм 1974 года. Решил закинуться кислотой в первый раз в жизни, вместе с местными хиппарями из Пси-Ю. Я так понимаю, все шло круто, пока он был с ними. А когда вернулся в наше братство, с ним стали происходить странные вещи. Брэдли все время твердил ребятам в братстве, что за ним гоняется какое-то большое темное существо. А никто не понимал, что он свихнулся. И я не понял. Брэдли тогда заглянул ко мне, сказал, что идет на крышу, потому что ему необходим глоток свежего воздуха. А я ему: «Сиди дома, чувак. Сегодня ночью холодно, обещают заморозки». Он ответил заковыристо: «Мне нужен холод. Потому что это поможет мне ясно видеть. А эта ясность, возможно, позволит мне провести эксперимент с гравитацией». Я гребаный кретин. Было уже поздно, зима, я пил и корпел над сочинением о Суинберне. Я решил, что Брэдли просто несет какую-то чушь. Через десять минут я услышал грохот за окном и крики людей. Он умер мгновенно, от удара о землю.

Я взяла Боба за руку:

– И ты винишь себя?

– Естественно. Я был последним, кто Брэдли видел живым. Он нес эту пургу насчет экспериментов с гравитацией…

– Но не было же похоже, что он решил покончить с собой. И ты не знал, что у него глюки.

– Это верно, но голос у него был очень усталый. И он сказал, что собирается на крышу. И…

– А что ты сказал в колледже, в полиции?

Боб опустил голову. Когда он снова заговорил, его голос дрогнул:

– Ничего. Сказал, что спал, когда это все случилось.

Повисла долгая тишина. Боб вынул свою руку из моей и отвернулся.

– Кто об этом знает? – спросила я.

– Никто… до этого момента.

– Почему я?

– Потому что… я не хотел, чтобы это осталось секретом, чтобы было что-то, что я от тебя скрываю.

Я тогда подумала: *но теперь мне придется с этим жить*. А вслух сказала:

– Я рада, что ты мне рассказал.

– Но теперь ты не захочешь иметь со мной ничего общего.

– Разве я такое сказала?

– Но я дал своему другу умереть!

Как и я.

– Завязывай, Боб, это же хрестоматийное католическое чувство вины. Я тебе много раз рассказывала о Карли и о том, что до сих пор думаю, что могла бы больше сделать, чтобы спасти ее. Я по-прежнему мучаюсь виной. Особенно из-за того, что ее тело так и не нашли, и я живу только надеждой, что в один прекрасный день мне позвонит ее мать и

скажет, что Карли нашлась в какой-нибудь коммуне хиппи, скажем, в Мексике. Мне понятно, почему ты винишь себя в гибели друга, хотя и сам прекрасно знаешь, что слишком сильно себя бичуешь, потому что на самом деле ты ни при чем. Честно говоря, ты ведь правильно сделал, что ничего никому не сказал, потому что иначе попал бы в типичную ситуацию, когда на тебя навешали бы кучу обвинений, хотя единственный человек, виноватый в смерти Бредли, это он сам. Так уж устроен этот мир. *Не можем же мы обвинять парня, который влез на крышу и спрыгнул, ведь он же мертв. Так давайте обвиним во всем того, кто последний видел его живым*.

Боб стремительно повернулся ко мне и ткнулся лицом мне в плечо:

– Ты потрясающая.

– Потому что я, в отличие от большинства наших сверстников-американцев, считаю, что львиная доля этических ситуаций не имеют однозначного толкования?

– Или просто потому, что ты *потрясающая*. Вот что я тебе скажу: в конце семестра я уйду из этого зверинца, из кампуса… но только если ты согласишься жить со мной в городе. Понимаю, я вроде как много прошу. Но смотри: я выйду из братства, ты вырвешься из общежития… я же знаю, как ты об этом мечтаешь… ну, и мы вроде как подходим друг другу, нет?

– Да, конечно, подходим.

– Влюбленность, страсть, все такое… но мы реально друг другу нравимся. Это же хет-трик.

– Эй ты, футболист!

– Ты меня раскусила. Заткнись и лучше поцелуй меня.

Позже в ту ночь мы ютились, вжавшись друг в друга, на моей односпальной кровати, а у меня в голове звучал въедливый скептический голосок: *Ты уверена, что правильно поступаешь? Вот так, очертя голову, начинать общую жизнь с парнишкой, которого знаешь каких-то пару недель?* Обуревающие меня сомнения роем носились вокруг. Настолько, что, когда я встала, чтобы взять сигарету и плеснуть нам вина, Боб, сев в кровати, сказал:

– Дай угадаю, о чем ты думаешь: как-то все это слишком быстро.

– Ты мои мысли читаешь?

– Ну уж настолько-то…

– Я этого хочу. Но и страшно немного.

– Мне тоже. Но тут такое дело: не надо относиться к этому как к чему-то бесповоротному, из разряда «раз и навсегда». Давай посмотрим, как пойдет… а я уж постараюсь, чтобы пошло хорошо.

– И никакого давления, а? – улыбнулась я. – Настоящая ночь выборов.

– По крайней мере, хоть что-то хорошее из нее вышло. Да, и спасибо…

– За что?

– Что не распсиховалась, когда я открыл тебе свой ужасный секрет.

– Когда у меня пропала подруга и я ела себя поедом за то, что ничего не сделала, чтобы это предотвратить, моя мама сказала: «Чувство вины похоже на машину, потерявшую управление. Несется по странной траектории и во все врезается».

– Аминь!

– Давай в субботу начнем искать жилье.

Наутро, перед началом своей лекции, профессор Хэнкок подозвал меня жестом и спросил, смогу ли я зайти после занятий к нему в кабинет. Мне он показался усталым или плохо выспавшимся. Может, сидел допоздна и следил за результатами выборов? Но это было маловероятно, так как результаты огласили уже в 20:00 по местному времени.

Лекция, которую читал Хэнкок, была посвящена полному отсутствию избирательных прав у кого бы то ни было в колонии Массачусетского залива, за исключением *избранных пуритан*. Лишь они признавались достаточно праведными и чистыми для того, чтобы удостоиться права сделать отметку в бюллетене для голосования.

Если Хэнкок и чувствовал себя усталым, как мне показалось перед лекцией, через каких-то несколько минут он вошел в свою колею, и благозвучная, ласкающая слух речь полилась как обычно, завораживая аудиторию.

– Духовная чистота, несгибаемость, безупречная жизнь и

благосклонное отношение к теократической правящей элите колонии – вот условия, при которых вы получали право голосовать в Массачусетсе Джона Уинтропа, – отметил Хэнкок и продолжил, вызвав смешки в аудитории: – Несомненно, наш свежепереизбранный вице-президент Спиро Агню целиком и полностью одобрил бы такой подход к выборам. Потому что, если кто не разделяет его взглядов на патриотизм и его мировоззрения, тот плохой американец.

После лекции Хэнкок торопливо убрал конспекты в портфель и ушел поспешнее, чем обычно. Через полчаса я робко постучала в дверь его кабинета в Хаббард-холле.

Сидя за столом, он протирал платком очки. Без привычной роговой оправы на лице он выглядел беззащитным и неуверенным.

– А… Элис, спасибо, что зашли.

Приглашая меня сесть, Хэнкок жестом указал на стул с жесткой спинкой напротив стола.

– Мой голос сегодня не показался вам хриплым, грубым? – просил он.

– Нет, я не заметила, профессор.

– Точно? Потому что мне определенно кажется, что он звучит грубо и хрипло.

– Нет, мне правда показалось, что сегодня ваш голос звучал прекрасно.

– Вы ко мне добры. Лично мне казалось, что я слушаю радио из Восточной Европы – сплошное шуршание и помехи.

В прошлую пятницу мне удалили полип из горла. А вчера пришли результаты биопсии. Полип оказался злокачественным. У меня рак.

Глава седьмая

Рак! Какое всеохватное, чудовищное слово. Профессор Хэнкок, сохраняя спокойствие и достоинство, объяснял мне возможные последствия своей болезни.

– Мой онколог сказал, что рак – это зачастую генетическая рулетка, – говорил он, глядя прямо на меня. – В моем возрасте и принимая в расчет то, что я в жизни не выкурил ни одной сигареты, трудно иначе объяснить, откуда взялся этот полип в горле. Просто не повезло, как сказал все тот же онколог. А с учетом того, что биопсия оказалась положительной, последствия, боюсь, огромны.

– Насколько огромны? – Мой голос звучал неуверенно, смущенно: я не знала даже, могу ли задавать подобные вопросы.

Но Хэнкоку вопрос вроде бы не показался бестактным. Наоборот, ему явно хотелось поговорить со мной на эту тему.

– Есть опасения, что опухоль могла дать метастазы.

– Я не понимаю, что это значит, профессор.

– Это означает диффузию, распространение, проникновение в другие органы. Метастазы смертельны.

Последовало долгое молчание.

– Вы умираете, профессор? – выдавила я наконец.

– Это главный вопрос. По словам онколога, вероят-

ность метастазирования полипа, подобного этому, составляет шестьдесят процентов. Если эти клетки попали в легкие, в мозг…

Он отвернулся к пасмурному серому небу за окном.

– Вы не умрете, профессор, – сказала я уже в полный голос.

– Надеюсь…

– Вы *не можете* умереть.

Безотчетно я подалась вперед и взяла его за руку. От неожиданности Хэнкок вздрогнул. Потом, на мгновение сжав мои пальцы в ответ – это выглядело как благодарность, – отдернул руку. Мне захотелось провалиться сквозь землю.

– Простите, профессор…

– Вам не за что просить прощения, – сказал он. – Я благодарен…

Оборвав себя на полуслове, Хэнкок опустил голову. Снова в кабинете повисло тягостное молчание. Я не решалась его прервать, потому что не знала, что еще сказать.

Профессор заговорил первым:

– Простите, что обременил вас этим.

– Я очень ценю…

Настала моя очередь смолкнуть, не закончив фразу.

– Я знаю, что могу вам доверять, Элис. А следовательно, уверен, что вы никому ни слова не скажете об этом… даже вашему симпатичнейшему другу. Да и между собой мы не

будем возвращаться к этому предмету.

– Но если у вас будут новости, появится какая-то определенность…

– Когда я буду знать прогноз, конечно, я с вами поделюсь. А пока…

– Не волнуйтесь, профессор. Я не проболтаюсь.

– Я знаю. Спасибо.

Хэнкок молча кивнул, давая понять, что наша встреча окончена.

Я вышла на улицу в растрепанных чувствах. Профессор Хэнкок умирает? Рванув бегом из кампуса, я направилась в сторону Мэйн-стрит, а потом бесцельно бродила по центру Брансуика, борясь со слезами. Это было несправедливо, слишком жестоко. Снова и снова я вспоминала момент, когда взяла его за руку, а он прошептал: «Я благодарен…» За что же благодарил Хэнкок – за обычный жест, выражение поддержки? Или он ощутил ту область невысказанного между нами – притяжение, которое мы оба чувствовали и которому не суждено перерасти во что-то большее, чем просто *притяжение*?

Добрый час я бродила по Брансуику, пытаясь сориентироваться в путанице нахлынувших на меня противоречивых чувств. Хотелось броситься к Бобу и все рассказать ему. Но этим я предала бы Хэнкока, попросившего, чтобы все осталось между нами. К тому же останавливало меня и другое: начни я сейчас рассказывать Бобу, как поражена этим изве-

стием, он может решить, что я и правда влюблена в преподавателя.

Пришлось взять себя в руки, отправиться в клуб на встречу с Бобом и вести себя как ни в чем не бывало. Двумя днями позже Хэнкок попросил меня задержаться после лекции. Дождавшись, пока все выйдут, повернулся ко мне:

– Я переживаю из-за того, что выплеснул на вас свои неприятности.

– А я из-за вас переживаю, профессор.

Молчаливый благодарный кивок. И потом:

– Пока мы не будем больше возвращаться к этой теме. Я не предлагаю делать вид, что этого разговора не было. Он был, и вашу доброту ко мне трудно переоценить.

– Но я ничего не сделала, профессор.

– Вы выслушали. И проявили сочувствие. Это безмерно. Но сейчас… этот вопрос закрыт и не обсуждается.

Почему? Испугался, что подпустил меня слишком близко? А может, дело в том, что я слишком откровенно показала свое отношение, взяв его за руку? Или он изменил своей новоанглийской сдержанности лишь на мгновение, чтобы хоть как-то справиться со свалившимся на него кошмаром?

У меня не было прямых ответов на эти вопросы, но задавать их я и не собиралась, боясь, что это может вызвать между нами разлад.

– Я понимаю, профессор, – только и сказала я.

И вопрос о его болезни больше никогда не поднимался.

К концу того же месяца мы с Бобом подыскали квартиру на довольно запущенной улочке Брансуика, по иронии судьбы носившей название Плезант-стрит[40]. Наше жилье располагалось на втором этаже дома под зеленой черепичной крышей, который явно нуждался в срочной покраске. Квартира была невелика, шестьсот квадратных футов, едва ли больше. Но предыдущий арендатор – выпускник философского факультета по фамилии Сильвестер, он заканчивал учебу досрочно – сильно оживил унылый интерьер, покрыв стены несколькими слоями белой краски. Философ поступил очень практично, уступив нам всю свою вполне приличную мебель за сто долларов наличными. Он предложил даже за дополнительные двадцать пять баксов оставить нам свои тарелки, столовые приборы, стаканы и кухонную утварь. Плата за месяц составила семьдесят пять долларов, коммунальные услуги – еще двадцать пять. Нам с Бобом это место приглянулось с первого взгляда. Особенно хороши были старая латунная кровать, которую Сильвестр купил и покрасил в черный цвет, и большой диван, обитый коричневым велюром. При взгляде на кровать у меня в голове зазвучал Боб Дилан («Ляг, леди, ляг на мою большую латунную кровать»), и я представила, как мы с Бобом занимаемся на ней любовью. А еще мне представились постеры, которыми мы обклеим стены, пара ламп, сделанных из бутылок из-под кьянти, и книж-

[40] Плезант-стрит (англ. Pleasant street) – Приятная улица.

ные полки (бетонные блоки с деревянными планками), которыми мы обставим комнату. Домашний студенческий рай.

Выписав Сильвестеру несколько чеков, мы с Бобом пошли в закусочную «Мисс Брансуик», чтобы отметить событие сэндвичами с горячим сыром. Чокнувшись бутылками «Мейбл», выпили за безумное решение соединить свои жизни.

– Ну вот, – сказал Боб, – вчера вечером перед уходом я рассказал о нас в доме Бета.

– Ого, – удивилась я. – И как они восприняли новость?

– Не слишком радостно. Один из членов братства назвал меня предателем. Потому что заодно я объявил и о том, что выхожу из братства, не дожидаясь конца семестра. Если бы не футбольный сезон, который продлится еще две недели, они бы, наверное, предложили мне уйти прямо сейчас.

– А как же все разговоры о том, что братские связи никогда не рушатся?

– Они так на это смотрят: либо ты с нами, либо нет.

– В точности как в мафии.

– Что такое мафия? – спросил Боб. – У меня дома, под Бостоном, такой группы нет.

Я улыбнулась.

Решив, что безопаснее будет сначала рассказать об изменениях в моей жизни отцу, я позвонила ему в офис. Голос у папы был расстроенный, но он согласился оплатить звонок и с ходу сообщил мне, что через несколько часов снова выле-

тает в Сантьяго… «И, пожалуйста, скажи, что звонишь, чтобы сказать, что ты голосовала за Никсона и очень рада его победе».

– На самом деле я звоню сказать, что в следующем семестре сэкономлю тебе шестьсот долларов.

– Что ж, это хорошие новости! И как ты собираешься это сделать, дочка?

– Я буду жить не в кампусе.

Долгая пауза на другом конце провода, во время которой я услышала, как щелкает папина зажигалка – верный признак того, что он закуривает. Наконец он подал голос:

– Разве первокурсникам разрешается жить за пределами кампуса?

– После первого семестра можно.

– Ты переезжаешь одна?

– Вообще-то, я собираюсь жить со своим парнем.

Папа отреагировал, я бы сказала, бурно:

– С парнем? С парнем! Ты совсем с ума сошла?

– Не сошла… он очень хороший.

– Тебе всего восемнадцать, не успела из дому уехать и… кто этот гребаный урод? Дай его адрес, я приеду и переломаю ему ноги.

– Пап, ну, пожалуйста, послушай меня.

– Дай сам догадаюсь… какой-то анархист в бегах. Или еще хуже, говнюк-хиппи с волосами, бусами и обкуренной говнючьей улыбкой.

– Его зовут Боб О'Салливан, его отец работает пожарным в Южном Бостоне, а сам он – лайнбекер[41] футбольной команды Боудина.

– Да ты меня разыгрываешь.

– Вот привезу его домой на День благодарения…

– И ты ждешь, что я его приму?

– Я ничего не жду, папа. Хотелось бы только, если можно, немного понимания.

– *Понимания*? Чертово ваше поколение, до чего же вы все инфантильные. Творите черт знает что, нарушаете все правила здравого смысла, а потом просите понимания. Вы хотите понимания! Ты, конечно, считаешь меня твердолобым, даже хуже – милитаристом, который твердит: «Это моя страна, а кому не нравится, валите отсюда». Но вот тебе мое мнение: нечего восемнадцатилетней девчонке жить с кем-то вне брака. Если хочешь выскочить замуж прямо сейчас – хоть лично я считаю это безумием, – другое дело. Но жить во грехе… назови меня католиком старой закалки… но нет, это недопустимо. Только через мой труп. Разговор окончен.

И отец бросил трубку.

Его реакция меня огорошила. Напуганная и растерянная, я доползла до библиотеки, где занимался Боб, и, стараясь не заплакать, положила голову ему на плечо. Боб – добрый, милый Боб – мгновенно оторвался от своей работы. Он вывел меня на улицу, к скамейке в тихом уголке, и позволил мне

---

[41] Позиция игрока в американском футболе – игрок защиты.

держать его за руку, пока я смолила одну сигарету за другой.

Я выложила ему все, весь разговор с отцом. А когда закончила, Боб пожал плечами:

– Не собирался говорить об этом сегодня, но вчера вечером я сказал своему отцу о переезде. Вообще-то, он мне сказал то же самое.

– Может, нам свести их, пусть пьют пиво, мартини, травят байки о войне и ругают «нынешнюю молодежь» – как мы разбаловались и как не хватает настоящей войны или Великой депрессии, чтобы научить нас уму-разуму.

Боб улыбнулся:

– Уверен, рано или поздно они встретятся. И не сомневаюсь, что наверняка понравятся друг другу. А ты понравишься моему папаше, это я тоже знаю, да и твой старик меня одобрит, спорю!

– Он тебя точно одобрит – от удивления, что я завела роман не с Джимми Хендриксом и не с Че Геварой.

– Так ты даешь понять, что я нормальный?

– Да нет. Просто… надо было сначала сказать маме. Это она научила меня, как принимать противозачаточные таблетки. Когда дело доходит до секса, мама не беспокоится.

– Почему же тогда ты не позвонила ей первой?

– Потому что знаю, что у нее была бы истерика, если бы я сказала, что съезжаюсь с тобой. Именно потому, что ирландец, католик, из рабочего класса. Все как у папы. Мама на него запала, когда ей было чуть за двадцать. И до сих пор об

этом сожалеет.

– Не бойся, твой отец переживет. И не откажется от тебя.

– Он может оставить меня без денег.

– Тогда пойдем работать в кампусе. Найдем способ заработать на квартиру. Но он так не сделает. Эти ирландские парни времен Великой депрессии… их отцы так их воспитывали: или живи по-моему, или скатертью дорожка. Но ты его единственная дочь. Он никуда не денется, приедет.

Но приехал тогда Адам – заявился в выходные неожиданно, без предупреждения. Позвонил мне только от заправки неподалеку от Льюистона. Сообщил, что решил навестить сестру и намерен снять номер в дешевом мотеле в Брансуике, «потому что не хочу вторгаться в твое личное пространство» (в переводе это означало «я знаю, что ты живешь с каким-то парнем, и потому не стану проситься переночевать у вас на полу»).

– Какое облегчение, что мы с тобой сможем наконец поговорить, – сказала я.

– Я так рад слышать твой голос, – ответил он, делая вид, что не слышал моих слов. – Завтра у вас вроде бы футбол?

– Ага, мы играем с Тринити, – ответила я, – а мой парень Боб…

– …лайнбекер?

– Ты хорошо проинформирован.

– Насчет папы не беспокойся. Ты же его знаешь, он просто в своем репертуаре. А мама, не поверишь, в этой истории на

твоей стороне. Вчера сама сказала мне.

Так вот для чего Адам прикатил на выходные – проверить, подходит ли мне Боб.

– Я думала, ты в Чили, – сказала я вслух.

– Так и есть, и мне это нравится. А домой в Штаты заехал всего на десять дней.

– И только сейчас мне звонишь? Ты получил мою открытку, в которой я прошу тебя объяснить насчет «папиной грязной работы»?

– Не-а, не получал. И для справки: добыча меди действительно грязное дело. Я просто неудачно выразился.

– Врун из тебя никакой.

– Думай что хочешь, сестренка. Увидимся вечером.

Меня в самом деле сильно беспокоило, чем на самом деле занимаются мои отец и брат в этом уголке Южной Америки. Я не представляла, узнаю ли когда-нибудь правду. Тревожило меня и то, что скажет Боб, когда узнает, что ко мне «случайно заглянул» брат, намерения и скрытые причины визита которого были шиты белыми нитками.

Но Боб отнесся к этому с завидным хладнокровием:

– Надо сделать так, чтобы он напился и обдолбался. Давай-ка в субботу после игры я свожу его в дом Бета на пару часиков. Вот там я его и расспрошу про ситуацию в Чили.

Мы втроем заглянули на вечеринку в Пси-Ю, под конец которой все валялись на одном водяном матрасе. Адама немного шокировало, что его младшая сестра курит при

нем траву, а потом он не на шутку сцепился с парнем из Нью-Йорка по имени Карл, который, узнав, что Адам работает на американскую горнодобывающую компанию в Чили, стал агрессивно на него наезжать. С нарастающим огорчением я слушала, как Адам изо всех сил пытается защитить присутствие США в чилийской горнодобывающей промышленности, выдвигая тривиальные аргументы насчет социалистического правительства Сальвадора Альенде («Кастро пришел к власти, а уже через три месяца… и это превратится в очередную диктатуру… они не смогут сами справляться на рудниках без специалистов из Штатов…»). Карл безжалостно опровергал одно за другим не слишком блистательные утверждения моего брата, щелкая их как орешки.

Адам попытался нанести ответный удар:

– Может, чем верить всей марксистской чепухе, которой ты начитался в «Нейшн», тебе имеет смысл приехать и увидеть все самому на месте?

Однако Карл парировал:

– По правде сказать, друг мой, все прошлое лето я провел в Сантьяго, работал стажером в чилийском министерстве торговли.

Затем он обратился к Адаму на беглом испанском, проверяя его знание языка. Адам с треском провалился. Стало ясно, что за три месяца в Чили он в этом ничуть не продвинулся.

– Итак, позволь мне уточнить… – сказал Карл с широ-

кой улыбкой. – О Милтоне Фридмане ты что-то слышал, но не имеешь ни малейшего представления о Чикагской школе экономики, предложения которой пытается навязать в Чили правое крыло?

– Хватит нести эту теоретическую заумь, – сердито буркнул Адам.

– Не надо придираться, друг мой. – Карл продолжал улыбаться. – Тем более что я просто исследую твои познания о чилийском мире… о, они обширны! Так и подобает блестящему человеку, который собрал и впитал так много из социально-экономической динамики общества, одновременно содействуя его эксплуатации…

Адам поднялся. Мне показалось, что он ударит Карла, но брат овладел собой, сумев не зайти слишком далеко. Я тоже вскочила. Как и Боб. Я хотела взять брата за руку, но он отдернул ее, не желая показаться слабаком, нуждающимся в утешении. Заглянув ему в глаза, я увидела в них боль и печаль, все сказавшие мне за него без слов. Это было невыносимо больно – видеть Адама побежденным, униженным. Он вышел, Боб пошел за ним вдогонку.

Я повернулась к самодовольному марксисту, потягивавшему водку:

– Тебя бы в Албанию… тюремщиком. С такой склонностью к садизму там тебе самое место.

На улице я увидела, что Боб положил Адаму руку на плечо и что-то тихо говорит ему на ухо, поддерживая. Боб дал

мне знак подождать в стороне. Я отошла, забралась на крышу припаркованного «фольксвагена»-жука и уставилась в низкое ночное небо, не только продолжая злиться на этого нью-йоркского умника, но и расстраиваясь из-за того, что брат ввязывается в споры, не владея материалом и не умея отстаивать свои взгляды. Бедный Адам, он так легко подставился. Я-то знала, что при всем том он отнюдь не дурак, но в этой жизни слишком многое решает уверенность, которой брат когда-то был наделен в изобилии, а теперь от нее не осталось и следа.

Через несколько минут Боб и Адам подошли к машине.

– Извини, что не сдержался, сестренка, – неуверенно сказал Адам. – Я просто не в форме, устал с дороги. Отосплюсь и буду как новенький.

Он приобнял меня и поплелся искать свой «бьюик».

На следующее утро на футбольном стадионе Боудина Адам был бодр и излучал оптимизм.

– Отличный денек, правда?

– Да, хороший.

– Для сведения, – сказал Адам, когда мы направлялись к трибуне, – я сегодня утром говорил со стариком. И Ее Королевским Сплетничеством. Обоим было безоговорочно заявлено, что Роберт О'Салливан – хороший вариант, так что они должны за тебя радоваться.

– Как они это восприняли?

– Разумеется, ужасно.

Я от души рассмеялась, радуясь, что впервые за долгое время брат снова демонстрирует свой сарказм и ехидство.

Тем более что он добавил:

– Я велел отцу десять раз прочесть розарий[42], от этого он себя чувствует лучше. Он ответил совершенно так, как подобает ирландскому католику. Сказал, чтобы я отвалил на хер.

Я снова засмеялась и сказала:

– Идем, игра вот-вот начнется.

Мы заняли свои места на трибунах, по дороге я без конца здоровалась с многочисленными приятелями Боба.

– Вижу, ты знакома со многими спортсменами.

– Это друзья Боба, не мои. Ты, возможно, в курсе, что я никогда не переступала порога братства Бета. А сейчас, когда Боб выходит из него, меня, видимо, считают опасной, как чума… заразила и похитила их брата…

– Знаешь, я, пока учился в колледже, тоже был весь из себя братский чувачок.

– Я помню.

– Мы были вот такими же противными, горластыми дебилами. Выходя из этого племени – становясь независимым, – твой парень, по сути, говорит всем остальным: я могу добиться большего. И это видно: он может и будет добиваться большего. Я вот не смог так же, как Боб. Но я и не такой

---

[42] Розарий – католические четки и форма молитвы с использованием этих четок.

способный, как он.

– Не говори так.

– Почему? Это правда. Он такой же умный, как ты, а это что-нибудь да значит. Питер – тоже талантище. А что я? Лох лохом. Никогда не любил учиться. Никогда не стремился добиться успеха. Всегда ломал голову над тем, как получше устроиться в жизни. И всегда себе отвечал: я недостаточно хорош, чтобы на многое рассчитывать.

– Но в Чили ты, кажется, процветаешь.

– Ага, цвету и пахну! Хотя, знаешь, в пустыне Атакама, вообще-то, очень круто. Она прямо рядом с Андами, так что, считай, высокогорье. Реальное высокогорье. Я научился ездить на лошади. Представь, я верхом на лошади, в пустыне, на высоте шести тысяч футов, в Южной Америке. Просто сказка какая-то. Я там пристрастился ходить в походы с одним из местных, Альберто, почти каждые выходные. Он классный парень. Вроде как наш подручный.

– В каком смысле?

– Ну, он посредник, когда дело касается отношений с шахтерами и их боссами, полицией и бандершами из местных борделей.

– В пустыне Атакама есть бордели?

– Это шахтерский город. Естественно, публичные дома там есть.

– И вы их курируете?

Адам нервно передернул плечами:

– Одно могу сказать: там, наверху, не так уж много незамужних женщин. Одиночество очень ощущается.

– А чем именно ты занимаешься?

Еще одно нервное пожатие плеч.

– Так, разным. Тебе будет неинтересно.

– А ты попробуй.

– Часто мотаюсь в Сантьяго и обратно. Координация денежных поступлений, бюджет… все такое. Честно говоря, если бы я делал ту же работу в штате Нью-Йорк, уже сдох бы от скуки. А там, в Южной Америке… ну, иногда я говорю себе, что живу как в романе каком-нибудь. Тем более что никому не понятно, что дальше будет при Альенде. Началась национализация. Все только и говорят о том, что в течение года максимум государство прихватит и нас. Еще ходят слухи, что Альенде создает собственный КГБ – тайную полицию для устранения всех противников его режима.

– Он же победил на выборах, так?

– С минимальным перевесом.

– Потому что участвовали еще две партии, кажется? Выборы ведь не были сфальсифицированы, правда? Это означает, что Альенде был избран демократическим путем. И еще это означает, что ты не можешь называть его правительство режимом.

– Даже если так оно и есть на самом деле, дайте ему два года, и эта страна превратится в Кубу. Никакой свободы… Ограничения на передвижения… Ты либо сторонник пар-

тии, либо враг государства.

– Вижу, папа основательно над тобой поработал.

– Не надо меня унижать, у меня могут быть и свои суждения о подобных вещах.

– Извини. Но все-таки о папе… ты его часто видишь?

– Да он постоянно в разъездах, мотается туда-сюда между рудником, Сантьяго и Нью-Йорком. Иногда нам удается выкроить часок, чтобы выпить пару ядреных писко. А так я все время сам по себе.

– И что же у него за «грязная работа»?

– Я уже ответил по телефону.

– Скорее уклонился от ответа.

– Наш рудник собираются национализировать. Чтобы держать руку на пульсе, приходится подкупать людей в правительстве, больших шишек. Социалисты любят взятки, как и все остальные. Я ответил на твой вопрос?

– Ну, наверное, – протянула я.

Адам ни в чем меня не убедил, но я понимала, что нечего и рассчитывать на искренний ответ.

– Значит, тебе там нравится? – спросила я.

– Не с кем словом перекинуться. Даже нет телевизора. Кино тоже нет. Вечерами бывает тоскливо.

– Попробуй читать.

– А вот это не мое.

Началась игра. Тему пребывания Адама в Чили пришлось закрыть. Матч был напряженным и жестким. Футболисты

Тринити играли грубо, не гнушались запрещенных захватов и подсечек. Но ребята из Боудина все равно были сильнее, а когда какой-то дефенсив лайнсмен[43] кулаком дал Бобу под дых, это заметил судья и закрыл глаза на то, что Боб в ответ лягнул его по ноге бутсой. Бобу даже удалось сделать тачдаун на тридцать ярдов после того, как после фамбла он овладел мячом и бросился к энд-зоне. Мы все вскочили на ноги и кричали, когда Боб провел этот фантастический прием, дав возможность Боудину одержать победу со счетом 21:17.

Когда после финального свистка мы шли к игрокам, Адам подтолкнул меня в бок:

– Твой парень – молодец! Бесподобно играл. Надо же, ну кто бы подумал, что моя сестренка-отличница западет на футболиста? У тебя очень счастливый вид.

Я и чувствовала себя счастливой, хотя страх не проходил – страх потерять свободу, связав себя узами. На День благодарения я согласилась поехать на встречу с родителями Боба. Его мать, Ирен, только что вышла из психиатрического отделения Объединенной бостонской больницы, где проходила курс шоковой терапии. Она оказалась хрупкой, сдержанной женщиной в домашнем платье и фартуке. Думаю, шоковая терапия повлияла на нее – Ирен выглядела отрешенной, казалось, она не очень хорошо понимает, что происходит вокруг. Я невольно подумала о своей маме и о том, что, несмотря на все ее безумие, я бы ни за что не согла-

---

[43] Позиция игрока в американском футболе – защитный линейный игрок.

силась подвергать ее такому чудовищному лечению. Лучше мать-истеричка, чем такая… психически стерилизованная.

– Ты играешь с Бобби в одной команде? – спросила меня Ирен.

– Пока еще нет.

Мой ответ вызвал смех его отца, Шона. Было заметно, что поначалу он отнесся ко мне с настороженностью. В его глазах я была чересчур богемной, слишком независимой, да и одета совсем не женственно. Что же касается Шона, то первое мое впечатление было таким: крупный, внушительный, с явно выраженным южнобостонским акцентом. Золотой крест на шее, солидный пивной живот и грубость, которая противоречила его нежной привязанности к сыну. Вскоре я поняла, что Шон не был типичным ирландским болтуном-пустозвоном. Добрый и порядочный, он искренне гордился Бобом, был в курсе его дел и оказался вовсе не таким ограниченным, как я решила поначалу. Убедившись, что я без всякого жеманства, не морщась, пью «Джемесон», а в ответ на его консервативные выпады не прикидываюсь возмущенной и оскорбленной, он стал склоняться к выводу, что со мной все не так плохо.

Подвозя нас к Южному вокзалу на поезд до Коннектикута, он повернулся к своему сыну:

– Можешь забыть все, что я тебе говорил раньше насчет того, что ты хочешь съезжаться с дамой.

– Я бы не стал называть Элис дамой.

– Ну, на бабу она не тянет.

Я чуть не подавилась сигаретным дымом, когда Шон это сказал, и так и ехала дальше, хохоча и потягивая «Гиннесс» из бутылки, которую он сунул мне перед выходом из дома. Шон свою высосал, когда водил меня по улицам Бостона, пустым наутро после Дня благодарения. Было одиннадцать утра, а мы пили. Мне казалось, что это невероятно круто.

В поезде я повернулась Бобу:

– Отец у тебя ничего.

– Он почти расист, жутко сентиментальный и упертый… я его очень люблю. Так что я рад, что он тебе понравился. А мама… мама витает в облаках. Но – Господи, убей меня на этом самом месте за то, что я такое говорю, – это несравненно лучше той озлобленной безумной мегеры, какой она была.

– Впервые слышу, что ты поминаешь Бога.

– Каждого ирландского мальчишку-католика учат: каким бы чудищем ни была твоя мать – а у меня как раз такая, – не смей сказать о ней плохого слова, не покаявшись в этом грехе.

Я взяла Боба за руку:

– Родители – это кошмар.

В отличие от Шона О'Салливана, который не возражал против того, чтобы мы с его сыном спали в одной кровати, мой папа еще до нашего приезда ясно дал понять, что Боб будет ночевать в гостевой спальне:

– И пусть не вздумает впотьмах прокрасться к тебе, понятно?

Боб, узнав о том, что нам приготовлены разные спальни, заверил моего отца, что с уважением относится к его решению. Сразу после этого он польстил моей маме, сказав ей, что, судя по нашей домашней библиотеке, у нее отличный литературный вкус. Увидев «Возвращение Кролика» в гостиной рядом с креслом, где мама обычно читала, он затеял с ней оживленную дискуссию о том, чьи короткие рассказы лучше – Апдайка или Чивера. Но тут мама повернулась ко мне и сообщила, что Синди Коэн мечтает повидаться со мной.

– Хотя ты, конечно, слишком занята, чтобы позвонить ей.

Я напряглась, испугавшись, что мама начнет давить на чувство вины. Она ведь прекрасно знала: я перестала общаться с матерью Карли, потому что это уничтожало меня, заставляя вновь и вновь переживать ужас оттого, что моя подруга пропала и, скорее всего, погибла. Боб, умница, сразу все понял, тем более что я рассказывала ему о том, что после исчезновения Карли миссис Коэн постоянно хотела общаться со мной. Не успела я ответить на мамин выпад, как Боб заговорил о своих планах на следующий семестр – он-де подумывает провести исследование по Синклеру Льюису. Мама клюнула на его уловку и пустилась в воспоминания, как в середине сороковых она в Коннектикутском колледже

была очарована «США»[44] Джона Дос Пассоса.

В разгар этой милой болтовни мой отец подтолкнул меня.

– Ты уверена, что он еще и в футбол играет? – спросил он вполголоса.

Никогда я не видела, чтобы кто-то так очаровал маму. Она, конечно, не флиртовала, но я могла дать голову на отсечение, что Боб ее просто потряс. Особенно тем, что отнесся к ней всерьез и вел с ней интеллектуальные беседы. Папу это еще больше озадачило.

– Твой парень знает, как снискать расположение дам, – сказал он мне.

– Он просто очень умный, – улыбнулась я.

– Так у тебя с ним все серьезно?

– Я вообще-то с ним съезжаюсь, пап.

– Да, я слышал.

– Ты грозился, что не будешь давать мне денег, если мы будем с ним жить в грехе. Так меня это устраивает. Мне предложили работу в библиотеке колледжа. Двадцать часов в неделю, по два доллара в час. Из этих денег я смогу оплачивать жилье. Еще я ходила в финансовый отдел, узнавала насчет студенческих пособий. Мне там сказали, что я могу оформить ссуду на оплату обучения на ближайшие два с половиной года, а выплачивать ее можно в течение двадцати лет после окончания учебы. А профессор Хэнкок даже по-

---

[44] «США» – трилогия Дж. Дос Пассоса, в которую вошли романы «1919», «42-я параллель» и «Большие деньги».

обещал, что приложит все усилия, чтобы я получила стипендию.

– Что еще за профессор Хэнкок?

– Может быть, самый гениальный человек, которого я когда-либо встречала.

Отец поморщился:

– Ничего себе заявка.

– И он, кстати, обо мне довольно высокого мнения.

– И пытается залезть тебе в трусы?

– Господи, пап…

– Просто спросил.

– А подтекст был такой: если он думает, что я не дура, то только потому, что хочет меня трахнуть.

– Воздержитесь от таких выражений, юная леди.

– Воздержись от дискриминации женщин.

– Какая еще дискриминация! Просто нормальное отцовское беспокойство. Дай-ка угадаю: он истинный джентльмен, рыцарь без страха и упрека?

Я почувствовала, что краснею, но все же умудрилась пробормотать:

– Да, он такой.

Папа кисло улыбнулся:

– Я вижу, ты втюрилась в этого типа.

– Так несправедливо, – зло прошипела я, заливаясь румянцем. Мы стояли достаточно далеко, так что мама и Боб не могли слышать наш диалог. – Мой отец не собирается боль-

ше оплачивать мое обучение, а этот профессор – который оценил мой интеллект, и не более того! – вмешивается, чтобы помочь. Потому что, в отличие от моего отца, он верит в меня.

– Нечего звонить всем подряд, что у тебя отец-самодур.

– Пойми, папа. Я не хочу, чтобы ты хоть в малой степени чувствовал себя обязанным меня содержать. Тем более ты считаешь, что я своим поступком нарушаю моральные нормы.

– Никогда я не говорил такого.

Я улыбнулась, подняв глаза к небу.

Папа нахмурился:

– Хорошо, допустим, я это сказал. А теперь хочу, чтобы ты это забыла. Можешь ты это сделать? Видишь, твой старик извиняется.

– Не нужно извиняться, папа. И платить за меня не надо…

– Ну ты и штучка! Жалко, что и слушать не захотела о юридическом. Из тебя бы вышел отличный прокурор – заставила бы плохих парней обливаться пóтом.

– У меня нет такой цели… – Я решила, что пора сменить тему: – Когда ты в следующий раз летишь в Чили?

– Во вторник.

По его голосу я почувствовала, что отцу не терпится поскорее вырваться отсюда через южную границу.

– Как Адам? Справляется?

– Отлично, насколько я могу судить.

– Что у него там… новая грязная работа?

– А ты все никак не уймешься?

– Когда от меня что-то скрывают, во мне просыпается упрямая ирландская девчонка. На Рождество он приедет?

– Если у него не будет других планов… А другой твой брат со своей новой подружкой-святошей собрался в Монреаль.

– У Питера новая девушка?

– Вы что же, до сих пор с ним не разговариваете?

Я только пожала плечами.

– Видно, он всерьез перед тобой проштрафился, раз ты до сих пор его не простила.

– Все уладится в конце концов.

– То есть это ты мне намекаешь: «Папа, не лезь не в свое дело»?

– Я немного злопамятна, – усмехнулась я.

В глубине души я и сама понимала, что слишком сурово обошлась с братом, но ничего не могла с собой поделать, не могла отделаться от мысли: как же он мог удрать вот так с малознакомой девушкой, особенно в тот момент, когда, учитывая все случившееся в Олд-Гринвиче, я так нуждалась в заботе старшего брата.

– Ты злопамятна? – переспросил отец. – Не пойму, в кого бы?

Два дня прошли сносно – в большой степени благодаря тому, что Бобу удалось успокоить моих родителей. Как это было интересно – обнаружить, что чужой парень, предста-

витель моего поколения, способен очаровать двух этих людей, невероятно вспыльчивых, взрывоопасных, рядом с которыми у меня возникало ощущение, что они втягивают меня в какой-то опасный водоворот. Родители настояли на том, что будут провожать нас вдвоем. Ранним утром в воскресенье они довезли нас на машине до Стэмфорда и посадили на пассажирский поезд до Бостона, чтобы там мы пересели на автобус, идущий в Брансуик.

На вокзальном перроне папа меня обнял.

– Я всегда знал, что ты найдешь правильного ирландца, – шепнул он мне на ухо.

Мама – на то она и мама – выразилась даже более определенно:

– Если ты упустишь этого парня, я тебе никогда не прощу.

Боб обменялся рукопожатием с папой, а маму обнял, и она сказала достаточно громко, чтобы я расслышала:

– Она тебя не заслуживает.

И вот мы уже сидим в вагоне второго класса и смотрим в окно на пролетающие мимо пригороды Коннектикута.

– Все прошло гладко, – заметил Боб.

– Пока мама не выступила со своей последней ремаркой.

– Тем и хороша жизнь в колледже, что мы можем, фигурально выражаясь, оставить все это за дверью.

Ох, уж это, мать его, самообольщение. Вернувшись в Боудин, мы оба в течение трех последних недель семестра, очень напряженных, не поднимая головы, сидели над учеб-

никами. Сдав наконец все экзамены и курсовые, мы потратили несколько дней на сборы и переезд на Плезант-стрит. Сильвестер к этому времени неделя как уехал в Германию, и мы довольно быстро обнаружили, что при внешней аккуратности хозяйство он вел не слишком хорошо. Морозилка была забита смерзшейся едой. В кухонных шкафах обнаружились тараканы («Я думала, что тараканы бывают только в Нью-Йорке», – сказала я Бобу), а раковины, ванну и туалет покрывали какие-то отвратительные пятна. Прежде чем распаковывать свои вещи, мы, одолжив машину у приятеля, закупили массу всевозможных чистящих средств и принялись за работу, отскребая грязь и окуривая квартиру, чтобы изгнать насекомых. Это был очень долгий день, а когда он подошел к концу, мы повалились на свежезастеленную двуспальную кровать и отметили это дело, занявшись безумной, чумовой любовью. Потом мы приняли ванну, попивая «Микелоб» из бутылок и прижимаясь друг к другу среди пузырей пены.

– Мне и в голову не могло прийти, что на первом курсе в Боудине я буду надраивать квартиру вместе со своим парнем.

– Который теперь уже официально перестал играть в футбол.

– Когда ты это решил?

– Да буквально вчера. Тренер Маттингер вызвал меня в свой офис и спросил, правда ли, что я вышел из Беты. По-

том сказал, что в этом сезоне я не так сосредоточен на игре, как раньше. А потом начал выспрашивать, правда ли, что я провожу время с какой-то «интеллектуалкой-хиппи» – это дословно. Ну, на этом месте я ему сказал, чтобы он вычеркнул меня из состава команды.

– Из-за этих его слов?

– Три сезона и так выше крыши. Уходить надо на подъеме… и все такое… Не то чтобы три седьмых финала сезона такой уж подъем. А с другой стороны, все же пять тачдаунов и восемь перехватов за последнюю осень – по-моему, нормально.

– Почему же ты мне только сейчас рассказал?

– Просто хотел дождаться подходящего момента.

– Зачем? Ты что же, боялся, я этого не переживу?

– Эй, что за тон?

– Эй, а что было выжидать почти два дня, чтобы дать мне знать, что принял важное решение? Нет, ну как же так? Маттингер наверняка уже все рассказал своим помощникам. Да мало этого, ты же устраивал прощальную вечеринку в Бета. Так я уверена, что своим дружкам ты тогда тоже намекнул об уходе из команды. Получается, я обо всем узнала последней.

Пока я произносила этот монолог, Боб отрешенно смотрел в потолок с таким видом, будто то ли витает в мыслях где-то очень далеко от меня, то ли внимательно изучает конденсат, собравшийся на побеленной стене ванны. Когда я закончила, он долго, очень долго молчал, обдумывая, что ска-

зать в ответ.

– Отчасти мне грустно оттого, что важная часть моей жизни закончилась, и оттого, что я вышел из мирка, который считал очень уютным и безопасным.

– И ты винишь в этом меня? – спросила я.

– Это решение принимал я сам, оно мое, и только мое. Но слушай, имею я право немного погоревать по этому поводу?

– Конечно имеешь. Я понимаю, что произошло и каково тебе сейчас. А мы тут дом обустраиваем… тоже вроде как странно.

– Ты что, уже жалеешь? – спросил Боб.

– С какой стати? Обожаю это место, тем более теперь, когда мы вывели тараканов и закрасили грязные пятна в сортире. И мы только что любили друг друга на этой прекрасной кровати. И я сижу с тобой в ванне. И пытаюсь осознать, до чего мне хорошо. Наверное, это что-то близкое к счастью… концепция, которая для меня далека, как заграница, с моей-то семейкой.

– Да, и для меня это что-то новое и непривычное. – Боб наклонился и поцеловал меня в губы. – Ты права. Я должен был рассказать тебе первой. Прости.

– А ты меня прости за то, что я начала разыгрывать собственницу и хранительницу домашнего очага. Блин, я сейчас выступила точь-в-точь, как моя мамочка.

– Ничего похожего.

– Не надо меня утешать.

– Не вижу в этом ничего плохого.

– Согласна. Но… тайны. Секреты друг от друга. Моя жизнь до сих пор вся из этого состояла. В семье все всегда что-то скрывают. Я больше так не могу. Может, попробуем не иметь друг от друга секретов?

Боб снова посмотрел в потолок.

– Мы можем попробовать, – изрек он.

Глава восьмая

В январе Ричард Никсон поднялся по ступеням Капитолия и во второй раз принес президентскую присягу. Через несколько дней после этого события в своем почтовом ящике в колледже я обнаружила открытку от папы. На ней была изображена недавняя церемония приведения Никсона к присяге. На оборотной стороне папа написал: «Отличное начало 1973 года! Надеюсь, ты улыбаешься. Люблю. Папа».

Я и правда невольно заулыбалась, читая открытку. Жаль, что отец был таким упертым консерватором. В глубине души он был большим озорником.

В том январе Мэн, как и вся Новая Англия, был завален снегом. Снегопад следовал за снегопадом. Как-то утром, проснувшись, мы обнаружили, что не можем открыть входную дверь из-за полутора футов снега, выпавшего за ночь. Вскоре стало ясно, что снега так много и он успел так слежаться, что открыть дверь изнутри невозможно, и это катастрофа: в восемь утра у нас обоих начинался зачет по «Беовульфу», а наш домовладелец обычно не утруждал себя чисткой дорожек и крыльца до полудня. Тогда Боб бросился по лестнице на второй этаж. Я понеслась за ним и, уже вбегая в квартиру, увидела, как он прыгает из окна вниз. С диким криком я бросилась к окну, ожидая увидеть труп в глубоком снегу, завалившем наш двор. Через секунду Боб вскочил на

ноги, улыбаясь во весь рот. Я пришла в ярость.

– Ты что, черт тебя возьми, с ума сошел? – крикнула я.

– Ерунда! – засмеялся Боб.

– Ты же мог убиться!

– Ну не убился же.

Боб пробрался к гаражу и, взяв там лопату, мигом откопал нашу дверь. Десять минут спустя мы уже подходили к колледжу, как раз успели к зачету.

Я все еще кипела:

– Можно убрать парня из братства, но невозможно убрать братство из парня.

– Да брось, зато на зачет успели.

– Ты слишком легкомысленно к этому относишься. Вспомни только своего товарища из братства, который в прошлом году свалился с крыши и разбился насмерть.

Боб надолго затих и не произнес больше ни слова до учебного корпуса. Заговорил он только перед тем, как войти:

– Думаю, я это заслужил.

– Я и не думала тебя наказывать. Но, Господи, неужели ты сам не понимаешь, какой это был безумный поступок? У меня чуть сердце не разорвалось. Ты хотел поломать мне всю жизнь? Ты же умный мужик, Боб.

Вечером, когда мы шли домой, Боб вернулся к утреннему эпизоду:

– Чтобы показать, что я раскаиваюсь, я сегодня приготовлю для тебя единственное блюдо, какое умею: спагетти

с фрикадельками. Этому рецепту меня научила учительница из приходской школы. Мисс Дженовезе – чистокровная итальянка, с севера страны. Она решила взять под крыло ирландских детей, чтобы уберечь их от паршивой готовки, вареной капусты и жареного мяса.

На кухне у нас были полные шкафы продуктов, потому что за неделю до того мы съездили в Портленд и спустили всю библиотечную зарплату в единственном итальянском продуктовом магазине к северу от Бостона. В то время Портленд был захудалым, унылым городом, а его старый центр находился в ужасном запустении. Но были там и свои изюминки, включая бакалейную лавку Микуччи, где можно было найти приличные итальянские помидоры в банках, чеснок и настоящий пармезан. Всего этого мы и накупили. Боб также потребовал, чтобы мы приобрели итальянские панировочные сухари со специями и краюху их хлеба, а также бутыль настоящего итальянского кьянти – по словам приветливой толстушки за прилавком, «вполне приличного за такую цену» (четыре бакса за полгаллона). Купив всё это, мы сели за один из маленьких столиков в задней части магазина и съели по куску вкуснейшей пиццы, запивая дешевым красным вином.

– Девушка из Нью-Йорка одобряет пиццу? – спросил меня Боб.

– Очень вкусная, я просто поражена. Меня в последнее время вообще все поражает.

– Что все?

– Мы. Наша совместная жизнь. И особенно поражает то, как мне все это нравится.

– Мне тоже. Знаешь, у ирландцев есть выражение, оно мне нравится: «В этом мы парочка».

Я взяла Боба за руку.

– Классная фраза, – сказала я, а сама подумала: приходилось ли моим родителям переживать вместе вот такие же моменты простого счастья? А если да, почему все пошло кувырком? Неужели дело в рождении детей? Или они с самого начала настолько не подходили друг другу, что так постоянно и жили в том же кошмаре, что и сейчас?

Остальная часть семестра, к счастью, прошла без потрясений, хотя и была насыщена событиями, которые касались меня непосредственно. Например, мы с Бобом подали заявку на должность консультантов в литературный лагерь для подростков в Вермонте. Поскольку лагерь считался прогрессивным, то нам даже пообещали выделить отдельную комнату на двоих в корпусе для персонала. Каждому из нас было обещано по триста пятьдесят долларов за месяц плюс бесплатные еда и проживание – целое состояние для студентов. А Боб напросился к профессору Лоуренсу Холлу, блестящему ученому, но очень вспыльчивому человеку, писать у него в следующем семестре самостоятельную работу по «Моби Дику» Мелвилла. Я закончила курс с высокими оценками по всем предметам. А моя курсовая работа по Федеральному

театральному проекту[45] была отмечена Хэнкоком как одна из лучших студенческих работ года. Он тогда пригласил меня в свой кабинет – наша первая встреча за несколько недель. За это время я ни разу не отважилась задать ему вопрос о здоровье. Сам Хэнкок тоже больше не заговаривал о своей болезни. На наших последующих встречах он подчеркнуто придерживался темы учебы, разве что спрашивал время от времени о Бобе и наших планах на лето. Обычная болтовня на нейтральные темы. Дружба, которая начинала зарождаться – когда он делился со мной какими-то подробностями личной жизни, а я откровенничала о своей семье, – превратилась в более официальные отношения преподавателя и студента. По-прежнему приветливые и доброжелательные, но с четко определенной дистанцией, которую Хэнкок установил и сам выдерживал. Граница была нарушена. И Хэнкок ее старательно восстанавливал.

Но в тот день, снова поздравив меня с успехом, профессор вынул из портфеля письмо от руководителя Гарвардской аспирантуры по истории Америки:

– Я решил показать ему вашу работу. Вот что он ответил.

Хэнкок протянул мне письмо, напечатанное через один интервал. Я начала читать.

«*Это незаурядная научная работа примечательно высо-*

---

[45] Федеральный театральный проект (англ. Federal Theatre Project) в рамках программы «Новый курс» президента Франклина Рузвельта способствовал популяризации театров и созданию рабочих мест для актеров.

кого уровня для студента, а тем более первокурсницы. Я надеюсь, что вы свяжете ее со мной, когда/если она примет решение поступать в аспирантуру».

– Я прошу вас сохранить это письмо, – сказал Хэнкок. – Вынимайте его и периодически читайте, это поможет вам не давать разыграться присущей вам неуверенности и сомнениям.

– Даже не знаю, что сказать, профессор. – Меня удивило, как это Хэнкок сумел уловить присущую мне тревожность, при том, что в его присутствии я всячески старалась ее не показывать.

– Вы можете гордиться тем, что вашу работу похвалил Венделл Флетчер – он считается одним из ведущих экспертов в стране по Рузвельту.

– Это чрезвычайно лестно. Но…

– Но что, Элис?

– Я о том, что вы мне говорили несколько месяцев назад, профессор. Что все мы безотчетно боимся разоблачения… это точно про меня. И я не знаю, смогу ли когда-нибудь избавиться от этого чувства.

– В конечном итоге все целиком зависит от вас, Элис. Это похоже на то, как я пишу. Только я сам могу заставить себя начать, а тем более закончить очередную книгу. Я убеждаю себя, что стану писать по вечерам, после лекций, после работы, после того как жена и дети лягут спать. Но нахожу для себя оправдания, чтобы делать по-другому. Обещаю се-

бе писать по выходным, а вместо этого беру мальчиков и на лодку. Или делаю какие-то дела по дому, хотя вполне мог бы нанять для этого рабочего. Просто я знаю, что это повод не заниматься книгой, вот и вожусь сам. А теперь, когда у меня есть должность в колледже, я часто задаю себе вопрос, буду ли вообще ее дописывать… Он замолчал, посмотрел в окно.

– Но еще я понимаю, что книга мне нужна – не только для того, чтобы лет через десять получить очередную ученую степень, но ради того, чтобы иметь стимул к жизни, сохранять интерес и чувствовать, что я чего-то добиваюсь, что-то создаю. Впрочем, честолюбивые желания, которые вдохновляют в двадцать с небольшим – видеть, как на полке прибавляется написанных тобой книг, – меняются со временем, когда остро осознаешь пределы своих возможностей.

Сказав это, Хэнкок вдруг поднялся, глядя на меня растерянно, будто осознав, что переступил еще одну границу. Что же до меня, то мне было просто приятно, что он снова решился приподнять завесу и показал мне свою слабость.

– Извините меня, Элис. Что-то я сегодня пессимистично настроен.

– Можно спросить, профессор?

Но не успела я задать вопрос о его болезни, как Хэнкок начал собирать со стола бумаги:

– Я должен срочно сделать кое-что.

Через секунду я уже была за дверью.

Занятия закончились на следующей неделе. Заключитель-

ная лекция Хэнкока была эмоциональным и трогательным рассказом о последнем годе президентства Франклина Делано Рузвельта и о том, как военная экономика привела наконец к экономическому возрождению, которого не смог обеспечить «Новый курс»[46], однако Рузвельт, тем не менее, осуществил первый истинный эксперимент в американской социальной демократии, который, хотя с годами эффект его сгладился, до сих пор имеет огромное влияние на политическую жизнь и правящие круги нашей страны.

– Я знаю, – продолжал Хэнкок, – что большинство сегодняшних американцев списало со счетов Линдона Джонсона как разжигателя войны и того политика, кто фатально усугубил наше ужасное вмешательство во Вьетнаме. Я соглашусь, что он допустил трагическую ошибку и тем самым опорочил себя как президента. Но самая большая трагедия для меня заключается в том, что в социальном плане именно Джонсон был самым прогрессивным президентом со времен Рузвельта. Взгляните на Закон о правах избирателей от 1964 года, Закон о гражданских правах от 1965 года, его политику Великого общества, программу медицинской помощи престарелым, Корпорацию общественного вещания. Даже на то, что он очистил наши дороги от рекламных щитов. История будет гораздо добрее к Джонсону, чем мы сейчас. История увидит, что он пытался переделать Америку, сделать из

---

[46] «Новый курс» (англ. New Deal) – система реформ президента Ф. Рузвельта, направленных на преодоление Великой депрессии.

нее истинно социал-демократическую страну. Когда Джонсон добился принятия Закона об избирательных правах (закона, который впервые в истории Америки предоставил права всем афроамериканским гражданам старше восемнадцати лет, которым прежде было запрещено голосовать во многих регионах Юга, да и в других местах), он заметил, что потерял Юг ради демократической партии. Доказательством этого стала первая победа Никсона в 1968 году: впервые кандидат от республиканской партии выиграл большинство штатов южнее линии Мэйсона – Диксона[47]. Джонсон изменил всю траекторию американской жизни этими двумя ключевыми частями законодательства о гражданских правах, и сделал он это ценой больших политических жертв. Как и все мы, Джонсон был глубоко несовершенным человеком, и да, он принял несколько катастрофически неудачных решений. Но история учит, что истинная картина жизни – этого невероятно сложного и часто противоречивого сюжета – открывается нам лишь после того, как уляжется так называемая пыль времен. История как таковая может рассматривать географические, политические, социальные, экономические и теологические силы, под влиянием которых складывается эта картина. Но она выявляет также и те глубокие раны, которые остаются на теле общества. «Над ранами смеется только тот,

[47] Линия Мэйсона – Диксона – граница, проведенная в 1763–1767 гг. английскими землемерами Ч. Мэйсоном и Дж. Диксоном для разрешения длительного территориального спора между британскими колониями Пенсильванией и Мэрилендом. Служит символической границей между штатами Севера и Юга.

кто не бывал еще ни разу ранен». Шекспир, разумеется. Раны характеризуют людей. Раны определяют предназначение и движение нации. Как вы еще убедитесь в своей жизни, раны являются неотъемлемой частью нашей личной судьбы.

Закончив на этом, Хэнкок поблагодарил нас за то, что ему было интересно с нами работать, и пожелал нам «наслаждаться летними радостями».

Когда я выходила, Хэнкок окликнул меня:

– Элис, задержитесь на два слова, пожалуйста.

– Ах, счастливица, папочка с тобой простится лично, – прошипела мне вслед Полли Стерн.

Я в ответ лишь вымученно улыбнулась. Дождавшись, пока остальные студенты выйдут, Хэнкок закрыл дверь аудитории. Потом, попросив меня сесть в кресло рядом с его кафедрой, он подсел ко мне:

– Я намерен задать вам крайне бестактный вопрос, Элис.

– Я сделала что-то не так, профессор?

– Нет, но вы можете знать что-то о некоем проступке, имевшем место среди студентов, посещавших мой курс.

– Что за проступок?

– Мне стало известно, что один из студентов для других писал курсовые работы.

– А кто это был, вы знаете?

– Не представляю. Знаю лишь, что двое студентов, не блещущих глубокомыслием и отточенным стилем письма, сдали мне работы, которые явно превышают их возможности. Та-

кие вещи трудно отследить, тем более что я дал всем выбор – написать одну большую работу, как ваша, или три коротких. Последний вариант позволяет нарушителю найти кого-то, кто написал бы работы за него, не тратя слишком много времени. Я, естественно, поговорил с обоими студентами, которых заподозрил в подлоге. Оба заверили, что невиновны. Я передал этот дело декану, и тот тоже опросил их обоих по отдельности. Они снова все отрицали. Я хотел было заставить их сдавать устный экзамен в присутствии комиссии. Мне не позволили – по причинам, в которые я не буду вдаваться, чтобы не сказать лишнего. Замечу лишь, что спорту здесь придают слишком большое значение, как и в большинстве колледжей. В конце концов мне пришлось положительно оценить сданные этими студентами работы, хотя было совершенно очевидно, что они писали их не сами. Заведующий моей кафедрой сказал, чтобы я больше не возвращался к этому вопросу. Но я должен спросить вас как человека внимательного: вам известен кто-либо, кто мог написать заказные работы?

Неуверенная, во всем сомневающаяся девочка во мне тут же запаниковала, задаваясь вопросом: *он что же, намекает, что эти работы написала я*?

– Честное слово, профессор, я не слышала, чтобы кто-нибудь просил или заставлял другого студента писать за него работы.

Хэнкок наморщил лоб:

– Не хочу на вас давить. Но вы абсолютно уверены?..

– Профессор, если бы я хоть краем уха что-то такое услышала, то обязательно вам бы об этом сказала.

– Я это знаю, Элис. Именно поэтому я и обратился к вам. Потому что, когда несколько дней назад это стало известно…

Вдруг Хэнкок замолчал, голос его оборвался, как будто он задохнулся или подавился своими же словами. Лицо стало свекольного цвета. Вынув из кармана брюк носовой платок, Хэнкок прижал его ко рту и отчаянно закашлялся, потом снял очки и протер глаза. Я смотрела на профессора во все глаза, не в силах оторваться от искаженного страданием лица.

– Там, в коридоре, фонтанчик с питьевой водой… – выдавил он.

Я бросилась к двери, не забыв схватить пустой стакан со стола. Уложившись меньше чем в тридцать секунд, я вернулась с полным стаканом, стараясь не показать, как испугалась. Хэнкок тут же выпил все до дна. Затем на миг прикрыл глаза. К тому времени, как он снова открыл их, к нему вернулось самообладание.

– Спасибо, Элис. Я, как и прежде, прошу, чтобы все, о чем здесь говорилось, осталось строго между нами.

– Конечно, профессор.

Хэнкок встал и, подойдя к кафедре, стал собирать книги и бумаги.

Я отважилась рискнуть:

– Можно мне спросить, сэр…

Но он не дал мне закончить предложение, оборвав разговор двумя словами:

– Всего доброго.

После чего, не оглядываясь, направился к двери.

После этого эпизода я страшно переживала. Из-за того, как сухо он попрощался со мной – в конце года! – явно давая понять, что, по его мнению, я знаю больше, чем хочу показать (а я действительно ничего не знала). Пугала меня и мысль о том, не откажется ли профессор теперь быть моим научным руководителем, не отвергнет ли меня, как поступали взрослые люди, имевшие большое значение в моей жизни. Но больше всего огорчало то, что я подвела Хэнкока – не знала подробностей, которые ему так необходимы.

В конце концов я нарушила данное Хэнкоку обещание – рассказала всё единственному человеку, которому, как мне казалось, могла довериться всецело. Боб оказался выше всех похвал. Велел, чтобы я перестала извиняться за то, что раньше не рассказала ему о болезни Хэнкока, ведь, сохранив это в тайне я показала себя честным и надежным человеком. Новость о скандале с подложными работами Боба тоже поразила.

– Я мог бы поспрашивать, разузнать, кто для кого пишет, – сказал он. – Ну, то есть я готов поставить сотню баксов, что руководство колледжа потому велело Хэнкоку замять это де-

ло, что замешаны были спортсмены, а они очень нужны своей команде, и неважно какой. Спорим, завтра к вечеру я разузнаю, кто виноват.

Но я понимала, что, если Боб ввяжется в это расследование, большие неприятности могут быть у нас обоих. И еще я знала, что Хэнкок, если узнает, что я нарушила свое обещание и обо всем проболталась Бобу, никогда мне этого не простит.

– Нет, не надо нам с тобой совать нос в это дело, – сказала я.

– Ты все сделала правильно. И не думай, пожалуйста, что Хэнкок так сухо с тобой попрощался, потому что в чем-то тебя подозревает. Пойми ты, чувак перед тобой показал свою слабость, этот приступ удушья… Он, видимо, сильно смутился, это выбило его из колеи.

И Боб обнял меня – именно в его объятиях мне сейчас и хотелось оказаться.

На другой день я обнаружила в своем почтовом ящике записку:

Дорогая Элис, я понял, что вчера поставил вас в неприятное положение, и хочу за это извиниться. Вы отлично работали в этом семестре, что и отразится на вашей итоговой оценке. Для меня было истинным удовольствием преподавать вам.

Искренне…

Вечером я показала записку Бобу.

– Видишь, напрасно ты огорчалась, – сказал он. – Хэнкок и сам решил больше не заниматься этим вопросом и жалеет, что втянул в это тебя. Ну что, ты успокоилась?

– Конечно, – кивнула я, но не могла избавиться от тревоги.

На лето мы сдали квартиру в субаренду студенту-музыканту – он устроился работать на летнем музыкальном фестивале в колледже. Целый день мы укладывали вещи и прибирались. Вечером мы собирались побаловать себя пиццей с пивом в центре города, а рано утром нам предстояло отбыть на автобусе в Бостон. Там Шон подыскал для нас «вольво» 1962 года выпуска у своего дружка-полицейского, который приторговывал на стороне подержанными автомобилями.

– Слушай, шестьсот баксов – это все равно что даром, – сказал он Бобу, а тот пересказал этот разговор мне, подражая выговору своего папаши. – А учитывая, что продает коп, можно быть уверенным, нам вернут деньги, если окажется, что это негодная развалюха.

Боб залез в свои сбережения и потратил добрую их половину, хотя его отец предлагал оплатить покупку («Я ж все равно думал, что тебе подарить на Рождество»). Но мой парень был непоколебим, твердо решив оплатить все сам.

– Чтобы он потом не мог сказать: «Вот сколько я для тебя сделал», – пояснил мне Боб.

Мы оба с восторгом ждали, когда сможем наконец обзавестись собственными колесами и ощутить вкус свободы, ко-

торую они нам подарят. План был таков: погостив несколько дней у родителей Боба, отправиться на мыс, где один из его школьных друзей подрабатывал летом управляющим мотеля. Он посулил, если Боб поможет покрасить три пустующих номера, пустить нас пожить бесплатно дней десять, при том, что работать предстояло по три часа в день, не больше. Сделка показалась нам выгодной, тем более что мотель располагался всего в квартале от пляжа. После короткого визита на мыс мы планировали отправиться в лагерь в Вермонте, а еще подумывали о поездке в Канаду в конце лета, прежде чем вернуться в колледж.

– Ты скоро закончишь? – крикнул Боб из кухни, где он заканчивал мыть пол. – Я бы уже не отказался от пиццы с пивом.

– Еще три минуты этой тягомотины, и я свободна.

Зазвонил телефон. Обрадованная возможностью отвлечься, я поднялась с колен. Это был Сэм.

– Элис, – услышала я его сдавленный голос, – я только что узнал кое-что… у меня очень фиговые новости.

– Что случилось? – спросила я. Его тон, не суливший ничего хорошего, насторожил меня.

– Профессор Хэнкок умер.

Вы замечали когда-нибудь, что, когда вам сообщают самые ужасные новости, которые, и вы это знаете, все изменят в вашей жизни, до вас сначала не доходят? Как будто потрясение от услышанного как-то воздействует на внутреннее

ухо, отводя звук.

– Да ладно, быть не может, – тихо сказала я.

– Мне очень жаль, но это правда, – вздохнул Сэм. – Хэнкок мертв.

– Рак горла оказался *настолько* запущенным? – только и нашлась я что сказать. – Я и не подозревала. Он так мужественно держался.

– При чем тут рак? – недоуменно спросил Сэм. – Хэнкока сегодня утром вынули из петли на чердаке его дома. Он покончил с собой.

Глава девятая

Похороны состоялись через неделю. Задержка была связана с тем, что, поскольку профессор Хэнкок покончил с собой, необходимо было провести полицейское расследование. Только когда оно было завершено и местный судмедэксперт разрешил забрать тело, можно было приступить к заключительным церемониям. Узнав о смерти профессора, я не могла спать, не могла мыслить хоть сколько-нибудь рационально. Меня будто втолкнули в пустую шахту лифта. И я падала. Я позвонила домой заведующему историческим факультетом. Профессор Фридлендер был немного эксцентричным человеком. Высокий, сухопарый, с белоснежной бородой под Уитмена, он производил впечатление рассеянного и витающего в облаках. О нем ходила слава добряка, впрочем, мягкость не мешала ему становиться строгим, когда речь заходила о преподавании и научной работе. У меня он еще не вел занятий. Я пока не решила, буду ли специализироваться по истории, поэтому не была уверена, что Фридлендер вообще станет со мной разговаривать. И все же, набравшись смелости, я позвонила ему на домашний номер:

– Это Элис Бернс, студентка профессора Хэнкока, – начала я. – Мне неловко беспокоить вас…

– Не нужно извиняться, Элис, – перебил меня Фридлендер. – Ужасный день сегодня. Мы все очень дорожили Тео.

– Я в полном шоке, профессор, – сказала я. – Понимаете, я виделась с ним всего два дня назад и…

Упоминать ли о скандале с подлогом работ? Профессор Фридлендер наверняка и так в курсе. А сейчас явно неподходящий момент.

– А я видел его утром того дня, когда он покончил с собой, – вздохнул Фридлендер. – Казалось, все прекрасно. Да, Тео был немного расстроен тем, что какой-то хоккеист сдал сочинение, явно написанное другим студентом. Но, что поделать, такое случается. Каждый из нас, преподавателей, в какой-то момент проходил через это. Важно другое… Оказывается – и я узнал об этом только вчера, повидавшись с его вдовой Мэриэнн, – вот уже несколько лет психическое состояние бедняги оставляло желать лучшего. Резкие перепады настроения, ужасная бессонница, гнетущее чувство собственной никчемности…

– Но у него же был рак горла, вы знали об этом?

– Рак горла? – переспросил профессор Фридлендер. – Почему вы решили, что у него был рак?

– Профессор Хэнкок сам мне сказал…

– Что у него рак?

– Да.

– Это какой-то абсурд.

– Я не выдумываю, профессор.

– Я ничуть не сомневаюсь в вашей честности, Элис. Просто в прошлом семестре, когда Тео удалили полип, он сказал

мне, что, по данным биопсии, полип был доброкачественным. И вчера Мэриэнн никак не намекнула на то, что диагноз оказался неверным. Не могу поверить, что он вам сказал такое.

Я не знала, что ответить. Потому что мне казалось, что у меня из-под ног уплыла почва.

– Я просто в шоке, профессор. Зачем ему было так уверенно сообщать мне, что это рак, если…

– При всей кажущейся стабильности и высочайшем профессионализме, по-видимому, Хэнкок боролся с какими-то ужасными внутренними проблемами… Вы, должно быть, скоро уезжаете из колледжа на лето?

– Через час, даже меньше. Но я вернусь на похороны.

– Благодарю вас за звонок и за информацию, Элис, – сказал Фридлендер. – Я ценю, что вы сохранили все в тайне. Если мне придется придать огласке то, что я от вас услышал, обещаю не упоминать ваше имя.

– Я вам благодарна, профессор.

Как только я повесила трубку, Боб поднял голову:

– Видно, разговор был тяжелый.

Я закрыла лицо руками.

Боб подошел и прижал меня к себе:

– У нас двадцать минут до автобуса… а идти туда минут десять.

Ехали мы налегке, с большими рюкзаками (остальная наша одежда была упакована и уложена на чердаке дожидать-

ся нашего возвращения в августе). Мы рванули к конечной остановке на Мэйн-стрит и успели купить два билета рядом на задних сиденьях в «Грейхаунде»[48], направлявшемся на юг. Оглядевшись и убедившись, что рядом нет знакомых из колледжа, я шепотом пересказала Бобу весь разговор с Фридлендером о профессоре Хэнкоке.

– Судя по тому, как удивился Фридлендер, Хэнкок действительно сказал ему, что полип был доброкачественным. Тогда зачем же он мне говорил, что у него рак? Это же профессор Хэнкок – всегда такой рациональный, уравновешенный…

– Он повесился, Элис. Значит, не был стопроцентно уравновешенным. Наоборот, судя по всему, он был совершенно не в себе.

– У него же все было. Такой красивый дом на Федерал-стрит. Счастливый брак. Три маленьких сына. И он только что заключил бессрочный контракт. Ну, то есть если бы ему отказали в должности, это еще имело бы хоть какой-то смысл. Но получить наконец постоянную работу, а потом наложить на себя руки…

Боб только пожал плечами:

– Как однажды заметил великий Джим Моррисон, «люди странные».

– Это немного поверхностно.

---

[48] «Грейхаунд Лайнс» (англ. «Greyhound Lines») – североамериканская автобусная компания.

– Убивая себя, человек наказывает тех, кто остался в живых.

– Я не только про это. Если это правда, что рака не было, то он все это время меня обманывал. Зачем ему было это делать?

– За тем же, зачем он покончил с собой.

– И что это за причина?

– А вот это загадка.

Через несколько часов мы катили по шоссе в том самом «вольво», который нашел для нас отец Боба. Колеса! Свобода! Я была рада за Боба. Почти до самого мыса мы ехали практически молча. Мотель оказался паршивым сараем, но в нашем номере были большая кровать и древний кондиционер, который грохотал всю ночь, но все же поддерживал прохладу. Покрасочные работы занимали три часа в день, так что мы старались вставать пораньше, чтобы успеть закончить к полудню, после чего отправлялись на пляж, где и проводили остаток дня. Я обнаружила, что близость моря действует успокаивающе. Мало-помалу я свыклась с тем, что происшедшее – реальность. Острое ощущение беды слегка притупилось. Но чувство потери было огромным. Потом пришло осознание: это уже второй близкий мне человек, решивший добровольно уйти из жизни. Да, смерть Хэнкока заставила меня наконец взглянуть в лицо суровой правде: Карли больше никогда не вернется в мою жизнь. И так же, как тогда, я снова постоянно задавала себе вопрос: почему я не смогла

его спасти? Боб был прав: самоубийство – это наказание для тех, кто остался жить. А потому смерть Хэнкока казалась не только ужасным предательством, но и горем, которое теперь нависало надо мной. С Бобом я все это обсуждала лишь в дозированных количествах, потому что не хотела дать ему почувствовать, насколько я была привязана к Хэнкоку. Впрочем, как я вскоре обнаружила, Боб это понял давным-давно.

– Горевать – это нормально, – сказал он мне однажды вечером, когда мы сидели в закусочной на пляже и ели жареных моллюсков, запивая их пивом «Хейнекен». – Хэнкок очень много для тебя значил. Он был важным человеком в твоей жизни.

– Что ты этим хочешь сказать?

– Что меня не обижает, что ты так расстроена.

– Прости, прости.

– Не нужно извиняться.

– Нужно… я чувствую себя виноватой.

– Почему?

– Потому что я должна была бы заметить.

– Что заметить?

– Что профессор Хэнкок собирается покончить с собой.

– Ты была его студенткой, а не психотерапевтом.

– Не было у него психотерапевта.

– Ты точно знаешь?

– Просто предполагаю. Если бы у него был психотерапевт, Хэнкок сейчас был бы жив.

– Или не был. Множество самоубийц обращается к психиатрам или принимает всякие прописанные им милтауны и дарвоны[49], на которые врачи подсадили мою мать… и посмотри, к чему это привело.

Мне вдруг стало ужасно скверно – я только сейчас вспомнила, что Боб почти всю жизнь имел дело с человеком на грани безумия. А еще мне пришло в голову, что огрызаюсь я не просто так, а потому, что мое восхищение профессором балансировало на грани влюбленности – и Боб, явно это понимая, поступает очень благородно, ни слова об этом не сказав.

– Не думай, я с ним не спала, – выпалила я неожиданно для самой себя. – Я не настолько сошла с ума, знаешь ли.

Опустив голову, я заплакала.

Боб взял меня за руку:

– Ты вообще не сошла с ума. Я вовсе не думал, что у вас с Хэнкоком до этого дошло… наоборот, я думал, что такой порядочный джентльмен из Гарварда никогда не переступил бы черту, тем более с любимой ученицей, которую он явно уважал.

– Я не достойна уважения.

– Позволю себе не согласиться. И Хэнкок не согласился бы.

– Не могу поверить, что больше никогда с ним не погово-

---

[49] Американские торговые названия транквилизатора и наркотического анальгетика.

рю, – всхлипнула я.

Однажды поздно вечером мне в мотель позвонила мама – звонок из серии «просто узнать, как дела». Но она тут же заговорила о том, что увидела в «Нью-Йорк таймс» некролог на профессора Хэнкока.

– Если мне не изменяет память – а она обычно мне не изменяет, – твой отец говорил как-то, что так звали профессора, который вроде как питал к тебе теплые чувства.

– Господи, мама…

– Так что… было это?

– Ему нравились мои работы, мам.

За день до похорон мы выехали в Брансуик и добрались до него за семь часов. Церемония прощания проходила в большой конгрегационалистской церкви в начале Мэйн-стрит. Народу было битком. Учитывая, что десятью днями ранее начались летние каникулы и почти все разъехались, я удивилась, как много студентов вернулось ради прощания с профессором Хэнкоком. Я сидела на скамье в среднем ряду, не отводя глаз от простого соснового гроба. Его поставили перед алтарем на специальную подставку. За свои девятнадцать лет я мало бывала на похоронах. Две бабушки и дедушка. Еще одна престарелая бабушка, двоюродная, по имени Минни. Она родилась в Германии в 1870 году и эмигрировала в Америку в 1938-м после Хрустальной ночи. Вот и все. До этого дня. Но в отличие от моих пожилых родственников, которые прожили очень долгую жизнь – Минни, ко-

гда она ушла от нас, перевалило за девяносто восемь, – профессору Хэнкоку было немногим за тридцать. Как я обнаружила в то угнетающе жаркое утро в Брансуике, вид гроба, в котором лежит человек немногим старше тебя, вызывает в душе леденящий холод. Я смотрела на этот деревянный ящик с закрытой (слава богу!) крышкой и пыталась представить себе Хэнкока внутри. Гадала, что принесла его жена в похоронное бюро – наверное, твидовый пиджак, серые фланелевые брюки, рубашку со скрытыми пуговицами, вязаный галстук и очки? Будут ли его хоронить одетым так, будто ему предстоит читать лекцию? Положат ли ему в гроб конспект и ручку, чтобы они были с ним в загробном мире? Есть ли у него на шее жуткий рубец от веревки? Показали ли его сыновьям в похоронном бюро? Заметили ли они, как сегодня утром я стояла перед их домом, сказав Бобу, что хочу перед похоронами прогуляться одна? Обратили ли внимание, какой потерянный у меня вид, как будто я случайно добрела до их обшитого зелеными досками дома в федералистском стиле, прислонилась к их железной садовой решетке и забылась в горе?

Вытянув шею, я разглядела в первом ряду жену Хэнкока и трех его мальчиков. Как же он мог так поступить со всеми? Как ни сокрушительны отчаяние, полная безнадежность, ощущение того, что жизнь не может продолжаться, последствия для тех, кто остался жить, – для тех, в жизни которых мы важны, – поистине чудовищны. Время от вре-

мени я посматривала на маленького Томаса Хэнкока. Невооруженным глазом было заметно, как он страдает. Мне были очень близки и понятны его чувства, но я не могла этого показать. На кафедру поднялся англиканский священник. Представившись братом профессора Хэнкока, он сказал, что сегодняшняя служба – самая тяжелая из всех, какие ему доводилось вести. Называя своего старшего брата просто Тео, он вспомнил, как они росли в сельской местности в Беркшире, где жили их родители. Рассказал, что, когда ему было десять лет, он, вопреки категорическому запрету входить в воду без взрослых, полез купаться в озеро за домом. Ярдах в пятидесяти от берега ему свело ногу судорогой. Он закричал, стал звать на помощь.

– Родителей не было дома, они ушли к друзьям играть в теннис. Тео сидел на террасе дома, уткнувшись в книгу, как всегда. Услышав мои крики, он бросился к озеру, нырнул, сбросив рубашку и шорты, и подплыл ко мне. Он, наверное, поставил рекорд, так быстро все произошло. Тео прошел небольшую подготовку спасателя, поэтому он точно знал, что делать: помог мне лечь на спину и медленно поплыл к берегу. На полпути мы услышали голос отца – он ругал нас за то, что мы ослушались запрета. На берегу я стал объяснять, что это я сглупил, а Тео спасал мне жизнь. Но папа даже слушать не пожелал, он снял ремень и вытянул нас по попе – каждому досталось по три удара. Знаете, что мне больше всего запомнилось? То, что Тео даже не пытался избе-

жать этой порки, потому что, как он сказал, этим он бы меня предал. А это полностью противоречило его представлениям о нравственности. Таким был мой невероятный брат – он скорее готов был терпеть боль, чем предать близкого ему человека. – У священника дрогнул голос. Он замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. Потом продолжил: – Признаюсь, когда пришла ужасающая новость о смерти Тео, я много размышлял об этом случае из нашего детства. И сейчас испытываю глубочайшее чувство вины. Я ведь знал, что у него были свои тяжелые моменты. Мне было известно, что ему, как и многим, довелось познать отчаяние. А в последние два года или около того… нет, конечно, время от времени мы переписывались, а прошлым летом провели вместе несколько дней в загородном доме родителей… Но я был так увлечен своим новым священническим саном и своей собственной семьей, что с братом общался далеко не так часто, как следовало бы. Вот потому я и вспомнил сейчас про тот июльский день 1950 года, когда Тео безропотно принял несправедливое наказание, не выдав меня. Тео спас меня – если бы не он, я утонул бы. Брат подарил мне следующие двадцать лет, которые я прожил с тех пор, – чудесных лет, замечу. Как я хотел бы спасти его. Как я хотел бы, чтобы все это оказалось скверным сном, чтобы не было этой страшной реальности, из-за которой мы с вами собрались здесь сегодня. Как бы мне хотелось, чтобы этот замечательный человек – человек очень неравнодушный, близко к сердцу принимавший

слишком многое – обрел этот луч света во мраке. Тео сильно досталось от жизни. А он к тому же очень болезненно воспринимал проступки других. Когда в конце семестра обнаружилось, что студент или группа студентов писали работы за своих соучеников, Тео увидел в этом нарушении этики приговор себе как учителю, даже несмотря на то, что его не в чем было упрекнуть. Мне искренне жаль, что он не знал, насколько он был любим.

В этот момент Томас Хэнкок громко всхлипнул и заплакал. Его мать обняла мальчугана, шепча ему на ухо какие-то утешения. А я сильно прикусила губу, пытаясь держать себя под контролем.

Когда спустя полчаса, после чтения «Отче наш», мы вышли из церкви, в голове у меня крутилась одна мысль: *Черт тебя побери за то, что ты так поступил со всеми нами. Будь ты проклят за то, что разрушил во мне последнюю каплю уверенности, что в твоем лице я нашла наконец того разумного и рассудительного взрослого, того советчика и защитника, в котором я всегда так нуждалась. Будь ты проклят за то, что разбудил меня, что открыл ужасную правду: никто не стабилен и никто не защищен. А идеальная жизнь – это ложь. Твое самоубийство не новость, не потеря невинности… я уже проходила все это в школе. Твоя смерть показала мне одно: все мы беззащитны и уязвимы. И разница между разумным и съехавшим с катушек очень и очень хрупка.*

Мы с Бобом возвратились на мыс. Закончили покраску дома. Потом поехали на север, в Вермонт. Там мы целый месяц вели достаточно культурную жизнь, обучая обеспеченных старшеклассников, которым грозила опасность не поступить в хороший колледж. Родители сослали их в лагерь, который Боб называл «дорогостоящей образовательно-исправительной колонией у озера» (тогда он как раз читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, опубликованный в то лето в английском переводе). Многие из подростков были своевольными и дерзкими. Но нашлось и несколько умных, увлеченных ребят, которые понравились нам обоим. Начитанные и нелюдимые, они не находили с остальными общего языка, я же оценила в них именно эти качества. По прошествии четырех недель мы загрузили рюкзаки в багажник и покатили на север, в Канаду. Для нас обоих это был первый выезд за пределы США. Мы влюбились в Квебек: узкие мощеные улочки, архитектура семнадцатого века, ощущение, что находишься в уголке старой Европы, – и это всего в нескольких часах езды от американской границы. Нам нравилось даже то, что все здесь разговаривали по-французски, а на английском отвечали нам крайне неохотно. Мы нашли очаровательный старый отель со скрипучей кроватью и вентилятором на потолке, словно сошедшими со страниц книг Теннесси Уильямса, всего за восемь долларов за ночь, при том что располагался он прямо в центре Старого города. Неподалеку обнаружились и недорогие рестораны с фран-

цузской кухней. Мы выпили там море дешевого бургундского. Я пристрастилась к канадским сигаретам «Крейвен Эй». При каждом удобном случае мы с Бобом занимались любовью. Долго гуляли по берегу реки Святого Лаврентия. Бездельничали, сидя в уличных кафе.

Я вслух задала вопрос, похоже ли все это на Париж, а Боб ответил:

– Подозреваю, что хоккей и кленовый сироп не слишком типичны для французской реальности. Но в остальном это немного похоже на Францию в изгнании.

Я пообещала себе, что начну изучать французский в следующем семестре, а в 1974 году проведу год за границей, и именно в Париже. И задала вслух еще один вопрос о том, что меня мучило: что с нами будет через год, когда Боб закончит Боудин и будет готовиться к поступлению в аспирантуру?

– Мы все это обсудим, – ответил он, – как только я буду знать, куда меня примут… если вообще какая-нибудь кафедра английской литературы захочет меня принять.

– Тебя все захотят принять.

– В таком случае, если Гарвард согласится, я тоже соглашусь, и тогда буду всего в ста двадцати милях от тебя. Да еще и папашу своего осчастливлю, потому что он сможет хвастаться всей своей команде, что у него сын учится в Гарварде.

– А ты уверен, что захочешь общаться с простой студент-

кой из Боудина, когда поселишься в Кембридже[50]?

– С чего это тебя понесло не в ту сторону?

– С того, блин, что я с тобой счастлива и боюсь, как бы все не развалилось.

– Этого не будет.

– Откуда у тебя такая уверенность? – настаивала я. – Тебе всего двадцать, а я тебя связываю.

– Я не заметил у себя на руках цепей. А я вот часто думаю, что недостоин такой умницы, как ты.

Мы провели в Квебеке пять дней, пообещав себе, что вернемся сюда, а еще что обязательно поживем в Париже и постараемся избежать всех жизненных ловушек.

Поездку все же пришлось сократить на несколько дней, потому что с матерью Боба случился жуткий приступ: она голой вылезла на крышу их дома и начала голосить, яростно завывая на луну. Отец позвонил Бобу в отель, рассказал ему новости и расплакался в трубку. Очевидно, сказал он, что электрошок не подействовал и теперь психиатры предлагают положить женщину в психиатрическую клинику. Еще Шон сказал, что Бобу незачем возвращаться в Бостон, что, как объяснил Боб, когда мы уже ехали назад на юг, было его способом сказать: «Давай скорей несись сюда со всех ног». Я предложила поехать с ним, но Боб считал, что в этой ситуации они с отцом должны побыть наедине.

– Я хочу быть рядом с тобой, – призналась я.

---

[50] Гарвардский университет расположен в г. Кембридже (штат Массачусетс).

– Там будет паршиво, мрачно… и я не хочу тебе это навязывать.

– Я могу с этим справиться.

– Лучше бы мне все же поехать одному, да и отцу так тоже было бы проще. Ты ему очень нравишься, но у старика большие проблемы с самолюбием, и то, что ты будешь рядом, когда маму вот-вот упекут…

Вечером Боб высадил меня в Мэне. Вернулся он спустя четыре дня, а я за это время навела порядок в том бедламе, который оставил наш квартиросъемщик – невероятный неряха! Он ни разу даже не прибрался в квартире. Оставлял фрукты плесневеть в шкафах. Почти не выносил мусор. Не удосуживался даже сметать со столов хлебные крошки. Тараканы были повсюду. Я застала этого парня, когда он паковал вещи. Шок на моем лице был достаточно красноречив.

– Привет, ты прости, я тут немного намусорил.

Стеклянные глаза парня и сладковатое облако дыма от травки, висевшее во всех комнатах, все мне объяснили: мы доверили квартиру закоренелому торчку.

– Ты всегда оставляешь жилье в таком виде? – спросила я, пытаясь сдержать гнев.

– В ящике со льдом две бутылки вина… оставляю тебе, – буркнул парень.

– Оставишь еще свой задаток – пятьдесят баксов, чтобы я наняла уборщицу и дезинфектора.

– Но мне же нужно что-то есть.

– Тогда будь любезен, приведи квартиру в порядок.

– Чё-то ты круто забираешь, старушка.

– Извини.

– Я думал, ты классная.

– А я думала, что ты в своем уме.

И я указала парню на дверь, дав понять, что больше не хочу его видеть. Парень поднял свой рюкзак с нашитым на нем вверх ногами американским флагом. Последними его словами были:

– Ты, видно, в армии служила, старушка.

Моему отцу очень понравилось бы это замечание.

Следующие два дня я провела, отмывая квартиру. Заодно нашла нашего домовладельца, на повышенных тонах выговорила ему за то, что в доме снова появились тараканы (они, надо сказать, вернулись еще задолго до нашего обкуренного жильца), и потребовала, чтобы он вызвал дезинфектора и провел фумигацию. Хозяин неохотно согласился. Когда-то он служил на военно-морском флоте, а уйдя в отставку, осел в Брансуике, обзавелся несколькими домами и не желал тратиться на нужды своих квартиросъемщиков. Но когда он обнаружил тараканов и у себя, то признал, что нужно что-то срочно предпринимать. Дезинфекторы принялись окуривать все ДДТ – в начале 1970-х всё было канцерогенным, – предварительно велев мне убраться подальше и не показываться еще часов восемь после того, как они закончат. Я сделала так, как мне сказали, и отправилась в телефону-автомату

рядом с «Макбинс», чудесным брансуикским магазинчиком, где продавались книги и пластинки. Бросив в прорезь три четвертака, я позвонила Бобу домой в Бостон.

– Могла бы позвонить за мой счет, – сказал мне Боб.

– Ты прекрасно знаешь, что я не стану этого делать. Как у вас дела?

– Кошмар! Прошлой ночью в больнице мать пыталась разбить себе голову. Так сильно ударилась о стену, что потеряла сознание на пару часов. Сделали рентген. Переломов и серьезных повреждений черепа нет, так нам главный врач сказал. Но теперь она в смирительной рубашке в изоляторе, обитом войлоком.

– Охренеть!

– Пожалуй, лучше не скажешь.

– Я очень сочувствую. Как твой папа все это переносит?

– Лучше, чем можно было ожидать. Я догадываюсь, что в глубине души он чувствует облегчение оттого, что так получилось и решение принято. Это значит, что теперь он чуть меньше будет себя винить за то, что мать заперли. Я тут случайно узнал, что отец вот уже пару месяцев встречается кое с кем – это моя бывшая школьная учительница, миссис Лаффан. Вдова. Мужа у нее убили во Вьетнаме. Что, как сказал мой католический папенька, вполне удовлетворяет его духовника, отца Куиллигана.

– Он тебе так и сказал?

– Ну, выдумывать я бы точно не стал. Вообще-то, мне при-

ятно, что он может обсуждать со мной такие вещи.

– Здорово, что у твоего отца появилась девушка. Она симпатичная?

– Ей лет сорок.

– Значит, в школе ты не был в нее влюблен?

– В миссис Лаффан? Типун тебе на язык!

Мы оба рассмеялись, а Боб признался, что за последние дни это первый раз, когда ему стало чуть повеселее. Я рассказала, какой беспорядок ждал нас дома и о том, что сейчас там морят тараканов. Сообщила и о том, что не отдала нашему жильцу задаток в пятьдесят долларов (Боб одобрил), но на уборщицу их не потратила, решив сэкономить деньги (а еще потому, что какой же студент будет нанимать уборщицу?). Но теперь, раз уж я сберегла эти полсотни баксов…

– Ты не против, если я на половину этой суммы куплю себе подержанный велосипед? На Мэйн-стрит есть один магазин, где цены вроде неплохие. А если я увижу еще и мужской байк тоже примерно долларов за двадцать пять…

– Сунь продавцу пару баксов, чтобы он его отложил, и мы заберем его, как только я вернусь. Велики – отличная идея. И спасибо тебе, что поработала и привела наш дом в порядок. Я твой должник.

– Ты мне ничего не должен.

В тот же день, ближе к вечеру, я села на только что купленный велосипед (примерно 1967 года, но в хорошем рабочем состоянии и перекрашенный в зеленый цвет какого-то стран-

ного оттенка) и проехала несколько миль до Мер-Пойнт – маленькой бухты с лодочным причалом и живописной панорамой побережья штата Мэн. Я снова и снова вспоминала свой ответ Бобу: «Ты ничего мне не должен». С моей стороны это признание, что он мне ничего не должен, означало чуть ли не объяснение в любви. Дома у нас отношения строились по принципу деловой сделки. Мне всегда напоминали о том, что я в долгу у родителей, и о том, как мы, их дети, испортили им жизнь своим появлением. Но с Бобом все было иначе, у меня даже мысли не возникало такой: ты должен сделать это для меня, потому что я что-то делаю для тебя. Легкость, непринужденность, установившаяся между нами, была редкостью – я это чувствовала. Оба мы были почти детьми, оба пытались найти свой путь в мире и доверяли друг другу настолько, что могли признаться, что оба боимся вступления во взрослую жизнь и всего, что этому сопутствует. Но мы встретились, нашли друг друга – и поняли, что вместе обрели уверенность и силу. Все это было для меня совершенно ново, и я не уставала удивляться, насколько другой, более счастливой была жизнь в этом изменившемся мире.

Боб вернулся через два дня, бледный, измученный. В обозримом будущем его мать собирались поместить в психиатрическую больницу. О миссис Лаффан его отец за пять дней упомянул только однажды, и, пока Боб был там, она тактично ни разу не появилась в их доме.

– Между нами говоря, отец, по-моему, не может поверить своему счастью. Он давным-давно хотел разойтись с мамой, но знал, что церковь никогда этого не допустит. Теперь у него появилась лазейка – что-то вроде карточки освобождения из тюрьмы в игре в «Монополию».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.